

## ПРАДЕДОВСКИЕ НРАВЫ

(Записки Гавриила Романовича Державина. 1743—1812.  
Издание «Русской беседы». Москва. 1860).

### I

Понятие, какое уже издавна составилось о личных качествах Державина, совершенно подтверждается его «Записками». Он был человек прямодушный (по тогдашнему времени), даже отважный (по тогдашнему времени) в защите справедливости; по образованию он был и для тогдашнего времени человеком отсталых идей; ума он был не гениального, — быть может, даже и очень недалекого (а быть может, странные рассуждения, кажущиеся следствием ограниченности ума, происходили у него и просто только от совершенной неразвитости, разобрать трудно); горячность характера беспрестанно вовлекала его в ошибки, которые, однакоже, не мешали его карьере устроиться очень завидным образом; самодовольно считал он себя великим дельцом, чуть-чуть не ежегодно спасавшим государство от гибели; тонкие и практичные сослуживцы справедливо могли считать его человеком пустым; а ему самому казались очень вредными людьми государственные люди с просвещенным образом мыслей, например, Сперанский; но все-таки, при всех своих недостатках, он был сам по себе человек почтенный, честный, любивший правду, желавший родине добра, хотя не имевший решительно никакого понятия о том, в чем состоит оно. Все это известно было о Державине задолго до издания его «Записок» и доказывается каждою страницей их. Когда он писал их, ему хотелось выставить себя мудрым правителем, человеком, оказавшим великие услуги отечеству, — это ему не удалось. Зато прекрасно обрисовал он ими себя, каков был на самом деле, в противность своему намерению изобразить себя не таким, каков был, а таким, каков казался себе в самодовольных мечтах.

Но главнейший интерес «Записок» Державина, разумеется, не в том, что через них подробнее прежнего можно познакомиться с ним самим. Влияния на тогдашние дела он не имел; вероятно, читатель не почтет нас хулителями отечественной поэзии, если мы откровенно скажем, что и поэтические его произведения не имеют ровно никакой цены, кроме разве некоторого исторического интереса. Был ли у него талант, или нет, этого мы сами уже не могли бы различить, видя в его стихах одно только безвкусие, слишком часто напоминающее Тредьяковского<sup>1</sup>; мы скорее готовы были бы думать, что замечательного таланта он не имел. Но современникам казалось не так: они считали его великим поэтом; а если они находили, что он гораздо выше всех остальных тогдашних поэтов, значит, оно так и было; кто пользовался громкою славою в свое время, тот, надобно полагать, имел больше таланта, чем другие, подвизавшиеся на одном с ним поприще. Этим силлогизмом приходим к заключению, что у Державина было поэтическое дарование, хотя мы и не можем сами заметить его...

Не только по своей государственной службе, но и по стихотворной деятельности Державин не такой человек, чтобы очень важно было разузнавать его как можно короче. К счастью, есть в его «Записках» другой интерес, какой всегда найдется в мемуарах самого незначительного человека, самого плохого писателя (надобно сказать правду: Державин писал прозою из рук вон плохо или, выражаясь прямее, писал довольно безграмотно), если только рассказывается в них довольно много каких бы то ни было «происшествий»: по этим происшествиям, как бы неудовлетворительно ни были рассказаны, как бы неискусно они ни были подобраны автором мемуаров, все-таки знакомишься с нравами того века, с тем, что и как делалось тогда на белом свете. Вот именно с этой только стороны мы и будем пересматривать здесь «Записки» Державина.

С этой точки зрения для нас не будет слишком важно даже и то, совершенно ли верны его рассказы о тех или других происшествиях. Очень может быть, что иные факты он понимал неверно, другие представлял в несправедливом виде по влиянию самолюбия. То и другое очень вероятно: человек необразованный, человек самых отсталых, часто диких (даже для тогдашней эпохи) понятий, он был плохой ценитель всех тех дел, для суждения о которых требуется просвещенный ум. Непонятый, не оцененный (по его мнению) Екатериною II и Александром I, великий государственный муж, он писал с целью внушить потомству, что собственно ему следовало вручить управление судьбами отечества, если бы хотели оказать истинное благодеяние отечеству, а при таком намерении или, лучше сказать, при мнении о своих делах и достоинствах, внушавшем ему такое намерение, он не мог отличиться беспристрастием. Очень может быть, что многие отдельные случаи, рассказываемые им, происходили не совсем

так, как он говорит; но для нас это почти все равно: если в данном случае было не совсем так, как он рассказывает, то вообще должно было постоянно бывать так, как он рассказывает: ведь ему нужно было, чтобы ему верили, а для этого должно было ему заботиться о правдоподобии, о сообразности его слов с мнениями о порядке, по которому делаются дела на свете. Впрочем, оно и само собою видно, таковы ли были те времена, какими оказываются по его запискам: каждый из нас довольно знает и по преданиям прошлого, и по наблюдению настоящего, чтобы самому быть компетентным судьей в том, верное ли впечатление о нравах тогдашней эпохи производится рассказами Державина. Итак, без дальнейших рассуждений, начинаем перебирать содержание его записок, не замедляя нашего извлечения историческою критикою подробностей, не нужною для нашей цели, и не останавливаясь много над подробностями, имеющими важность только для биографии самого Державина, а замечая только те страницы, которые годятся для характеристики эпохи.

Державин, родившийся, как известно читателю, в Казани в 1743 году, в семье очень небогатых дворян, замечает о себе, что «во младенчестве был весьма мал, слаб и сух и по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному должно было его запекать в хлебе, дабы получил он сколько-нибудь живности» — не знаем, как теперь, а лет 20 тому назад попадались в том же кругу примеры такого способа укреплять силы слабых малюток. Прогресс в этом отношении не слишком велик, не то, что в других, в которых мы сделали гигантские шаги, по уверению наших публицистов. О том, как плохи были средства учиться, представлявшие Державину в детстве, читатель давно знает. Но вот любопытная черта. Привезенный по седьмому году в Оренбург, Державин был «отдан для научения немецкого языка сосланному за какую-то вину в каторжную работу некоторому Иосифу Розе, у которого дети лучших благородных людей в Оренбурге, при должностях находящихся, мужеска и женска полу, учились. Сей наставник... наказывал своих учеников самыми мучительными, даже и непристойными штрафами, о коих рассказывать здесь было бы отвратительно». Но каков ни был Роза, он все-таки выучил Державина тому, чему учил: немецкому языку. С тем и остался Державин на всю жизнь, что мог читать в подлиннике Геллерта и Гагедорна<sup>2</sup>. У других учителей не научился он ничему, хотя поступил в гимназию, открывшуюся в Казани, и считался в ней отличным учеником. Его успехи в черчении были причиною, что директор гимназии Веревкин, бывший также и членом губернской канцелярии (нечто подобное советнику губернского правления), взял его с собою «вместо инженера, подчиня ему нескольких других учеников», когда был послан в город Чебоксары освидетельствовать, какие дома там построены не по высочайше утвержденному плану города. Для этого следовало снять

план с действительно существующего города. Тут вышла история следующего рода:

Поселику они все, как выше сказано, учились геометрии без правил и доказательств и притом никогда на практике не бывали, то, приехав в город, когда должно было снимать оный на план, и стали в тень, тем паче, что с ними и астрелябии не было. В таком затруднительном случае требовали наставления от главного командира; но как и он не весьма далек был в математических науках, то и дал наставление весьма странное или паче весьма смешное, приказав сделать рамы шириною в восемь сажень (что была мера по сенатскому указу широты улицы), а длиною в шестнадцать, и, оковав оные связями железными и цепями, носить множеством народа вдоль улицы, и когда сквозь которую улицу рама, не проходя, задевала за какой-либо дом, из коих некоторые были каменные, то записывать в журнал, который дом сколько не в меру построен против сенатского положения; а на воротах мелом надписывать: *ломать*.

Впрочем, замечает Державин, быть может, Веревкин делал это «не по неискусству, а из хитрости», чтобы запугать домохозяев, которые действительно откупались у него взятками от разорения домов. Рамы приносили и другую выгоду: Веревкин останавливал суда, шедшие мимо Чебоксар, и сгоняя с них бурлаков таскать рамы; судохозяева также откупались, чтобы он пустил их плыть. Были в Чебоксарах кожевенные заводы; Веревкин сказал, что от них портится вода в реке, велел остановить их действие и приставил к ним караулы; разумеется, и тут ему дали взятку. Эти заботы о чистоте реки не останавливали работ по главному предмету поездки: Державин принялся чертить план Чебоксар такой величины, что в комнате он не умещался, а «черчен был на подволоке одних купеческих палат»; но не успел он покончить этого циклопического плана, как Веревкин, уже удовольствовавшись полученными успехами, велел ему везти план в Казань: планом нагружилась телега, и улегся он на ней не иначе, как «под гнетом».

Будучи вытребован из гимназии на службу в гвардию по тогдашнему правилу, Державин, как известно, долго оставался солдатом, потому что не имел протекций, и его обходили производством<sup>3</sup>. Когда гвардия ходила в Москву присутствовать при коронации Екатерины II, молодой человек нашел было себе протекцию: после чебоксарских подвигов он, бывши в гимназии, ездил также с Веревкиным описывать развалины Болгар; планы и бумаги эти были в свое время представлены Шувалову, куратору Московского университета<sup>4</sup>; теперь Державин вздумал просить его покровительства. Шувалов, прочитав поданное Державиным письмо, велел притти ему в другой раз.

Но как дошло сие до тетки его по матери двоюродной, Феклы Савишны Блудовой, жившей тогда в Москве в своем доме, бывшем на Арбатской улице, женщины по природе умной и благочестивой, но по тогдашнему веку непросвещенной, считающей появившихся тогда в Москве масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют, и тому подобные бредни, а Шувалова

признавали за их главного начальника, то она ему, как племяннику своему, порученному от матери, и дала страшную нагонку, запрета накрепко ходить к Шувалову, под угрозой написать к матери, буде ее не послушает. А как воспитан он был в страхе божием и родительском, то и было сие для него жестоким поражением, и он уже более не являлся к своему покровителю.

Тем дело и кончилось. Державин остался рядовым солдатом. Но в 1763 году, наконец, произвели его в капралы. С таким повышением ему захотелось показаться матери, он отпросился в отпуск. На дороге случилась история такого рода. Он поехал вдвоем с другим гвардии капралом, Аристовым. «Прекрасная, молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназии директором, господином Веревкин<sup>ым</sup>», и сжавшая из Москвы, где была по делам, назад в Казань к Веревкину, уговорила ехать с ними. С Державиным она была любезнее, чем с Аристовым. Аристов начал ревновать, «но не мог воспретить соединению их пламени». Вот приехали они к перевозу через Клязьму; перевозчики на пароме запросили дорого; Державин «не хотел им требуемого количества денег дать, и они разбежались и скрылись в кусты», — отчего разбежались и скрылись в кусты, Державин не упоминает; как бы то ни было, прошло полчаса, а перевозчики не являлись. «Натурально, красавице скучилось; она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесац, бросился в кусты искать перевозчиков». Они нашлись, но стали просить вперед плату, больше прежней. «Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обману (какого же?), вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика». Он схватил багор, крикнул товарищам: «ребята, не выдавай!», и все перевозчики бросились на Державина. Он схватил ружье, хотел выстрелить, но, к счастью, замечает он, не мог скоро спустить слишком тугого курка, а перевозчики, увидев ружье, разбежались (куда девался Аристов, Державин не говорит: вероятно, он отстал сам от счастливой четы). Державин сел в челнок, стоявший у берега, переправился на другой берег, где стояло село, и там бегал по улице и по дворам с обнаженным тесаком; жители попрятались от него. Наконец вышел осанистый мужик с большою бородою, опираясь на посох, и пристыдил его. Державин и прекрасная молодая девица приехали в Казань; тут кончилось его счастье: благородная девица «жила в одном доме с господином директором, с супругою его вместе» — какая милая простота нравов! — и Державин уже не мог «иметь свободного входа к ней в покой», — впрочем, только потому, что был «небольшого чина и не богат», а если бы чин и деньги, то, судя по этим словам, Веревкин не воспретил бы «входа в покой» не только к девице, но и к своей супруге.

Возвратившись из деревни, Державин 4 года оставался капралом, но произведен в фурыеры и командирован с подпоручиком Лутовиновым на яжелбицкую станцию осенью 1766 года для

надзора за лошадьми, собранными на московской дороге по случаю путешествия императрицы в Москву. На зимогорской станции был другой Лутовинов, брат яжелбицкого. Оба брата были «умные и весьма расторопные в своей должности люди», но «упражнялись в неблагопристойной жизни»,

то есть в пьянстве, карточной игре и в обхождении с непотребными яскими девками в известном по распутству селе, что ныне город, Валдаях; ибо младшего брата станция была в Яжелобицах, а старшего в Зимогорье, в соседстве с Валдаями. Там проводили иногда целые ночи в кабаке, никого, однако, посторонних кроме девок не впуская.

С такими людьми Державин провел целую зиму, но не сделался пьяницею, — он вовсе не пил не только вина, даже пива и меду. Казенные деньги, выданные на расходы разгульному подпоручику, он взял в свои руки, берег их, расходовал правильно и тем спас его от суда, которому подвергся старший, зимогорский, Лутовинов, разжалованный за растрату сумм, а еще больше за следующий случай: когда сторожевые команды были сняты со станций, Лутовиновы поспешили в Москву;

приехав в село Подсолнечное, где стоял капитан Николай Алексеевич Булгаков, которого почитали не за весьма разумного человека, требовали от него, будучи в шумстве, наскоро лошадей, но как лошади были в разгоне, то они, ему не веря, приказали их сыскивать по дворам; а как и там оных не находили, то многие буяны из солдат, желая угодить командирам, перебили в избах окошки и разломали ворота, то и вышла от сего озорничества жалоба и шум. Булгаков вступился за свою команду. Он и Лутовиновы, наговоря друг другу обидных и бранных слов, называя Булгакова дураком, разгорячились или, лучше сказать, вышли хмельные из рассудка, закричали своим командам: к ружью! Булгаков также своей. У каждого было по 25 человек, которые построились во фронт; им приказано было заряжать ружья; но Державин, бегая между ими, будто для исполнения офицерских приказаний, запрещал тихонько, чтобы они только вид показывали, а в самом деле ружей не заряжали; и как было тогда ночное время, то офицеры того не заметили, а между тем подоспели лошади и наехали другие команды, а именно из Крестец капитан Голохвастов, то и успокоилось сие вздорное междоусобие.

Скоро Державин был произведен в сержанты и опять отправился в деревню показаться матери в новом чине. Возвращаясь оттуда, молодой человек остановился в Москве у знакомых офицеров, проигрался и не мог уже выехать. Около полгода прожил он, ведя игру в надежде отыграться; попал в компанию шулеров «или, лучше, прикрытых благопристойными поступками и одеждою разбойников», научился у них «заговорам, как новичков заводит в игру, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам». Но играл только из нужды, сам слишком больших низостей не делал и, когда вырвался из дурной компании, скоро исправился: действительно, у него была честная натура. Он жил в Москве с офицером Максимовым, в доме своего родственника Блудова. В эти месяцы кутежа «случилось с ним несколько замечательных происшествий».

*Первое.* Хаживала к ним в дом в соседстве живущего приходского дьякона дочь, и в один вечер, когда она вышла из своего дома, отец или мать, подзревая ее быть в гостях у соседей, упросили бутюшников\*, чтобы ее подстерегли, когда от них выдет. Люди их и Блудова увидели, что бутюшники позагульно кого-то дожидаются; спросили их; они отвечали грубо, то вышла брань, а потом драка; а как с двора сбежалось людей более, нежели подзорщиков\*\* было, то первые последних и поколотили. С досады за таковую неудачу и чтоб отомстить, залезли они в крапиву на ограде церковной, чрез которую должна была проходить несчастная грация. Ее подхватили отец и мать, мучили плетью и, по научению полицейских, велели ей сказать, что была у сержанта Державина. Довольно сего было для крючков, чтобы прицепиться.

На следующий день, когда он в карете четверней возвращался домой, подле ворот будочники схватили лошадей под уздцы, «повезли чрез всю Москву в полицию» и посадили в арестантскую, где провел он около суток.

На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтоб он признался в зазорном с девкою обхождении и на ней женился; но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских, не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив однако с неделю, должны были с стыдом выпустить, сообщая однако за известие в полковую канцелярию, где таковому безумству и наглости алгвазилов дивились и смеялись. Вот каковы в то время были полиция и судьи!

*Второе.* Познакомился с ним в трактирах по игре некто, хотя по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в полиции за подделку векселей и закладных на весьма большую сумму и подставление по себе в поручительство подложной матери, который имел за собою в замужестве прекрасную иностранку, которая торговала своими прелестями. В нее влюбился некто приважий пензенский молодой дворянин, слабой по уму, но довольно достаточный по имуществу. Она с ведома, как после открылось, мужа с ним коротко обращалась и его без милости обирала, так что он заложил свое и материнское имение и лишился самых необходимо нужных ему вещей. А как сей дворянин был с Державиным хороший приятель, то и сжалился он на его несчастье. Вследствие чего, будучи в один день в компании с мужем, слегка дал ему почувствовать поведение жены. Муж старался прикрыть ее и оправдать себя своим неведением; и хотя тогда прекратил разговор шутками, но запечатлел на сердце своем на него злобу за такое чистосердечное остережение. Он, спустя некоторое время, позвал его в гости к себе на квартиру жены и под вечер намерен был поколотить, а может быть и убить; ибо, когда Державин вошел в покои, то увидел за ширмами двух сидящих незнакомых, а третьего лежащего на постели офицера, которого раз видел в трактире игравшего несчастью на бильярде; ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Хозяин, приняв гостя сначала ласково, зачал его помалу в разговорах горячить противоречиями, потом привязываться к словам, напоминая прежде слышанные им, относя их к обиде его и жены; но как гость опровергал сильные возражения свое невинное чистосердечие, то умысленник и начал кивать головой сидящим за ширмами на постеле, давая им знать, чтоб они начинали свое дело. Против всякого чаяния лежащий сказал: «Нет, брат, он прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступаюсь за него и переломлю вам руки и ноги»; ибо был он молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее и имел подле себя арясину, то хозяин и все прочие соумышленники уди-

\* Полицейских. — Ред.

\*\* Подстерегающих наблюдателей. — Ред.

видись и опешили. Это был господин землемер, недавно приехавший из Саратова, поручик Петр Алексеевич Гасвицкой, который с того времени сделался Державину другом.

Третье «замечательное происшествие» было таково. В Москве содержался тяжелый преступник Черный<sup>5</sup>, вздумав высвободиться, он подослал своего приятеля сказать разным чиновникам и офицерам, находившимся в компании Державина, что знает места, где зарыты богатые клады. Державин в это дело не вмешался, но другие поверили и привлекли к участию в своих планах некоторых «довольно значущих» людей. Им надобно было освободить Черного.

Они это сделали таким образом: составили подложный вексель на Черного, по которому произвели взыскание, и как находился такой закон, по коему должно было из всех правительств по требованиям посылать в магистрат колодников для уплаты их долгов их заимодавцам, а из магистрата дозволялось отпускать их в баню, в церковь и к родственникам под присмотром; — сего довольно крючкотворцам. Черный отпущен в баню под надзором одного гарнизонного солдата: на Царицыной площади отбит незнаемыми людьми.

Разумеется, Черный скрылся от обманутых своих покровителей. Кое-как выбравшись из Москвы, Державин в Петербурге продолжал жить игрою в карты, но играл только «по необходимости для прожитку» и «благопристойно». Исправление свое он приписывает влиянию женщины.

Жил он тогда в маленьких деревянных покойчиках, на Литейной, в доме господина Удолова, хотя бедно, однакоже порядочно, устранив от всякого развратного сообщества; ибо имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою. Как был очень к ней привязан, а она не отпускала его от себя уклоняться в дурное знакомство, то и исправил он помалу свое поведение.

Он был около этого времени, наконец, произведен в офицеры (1 января 1772 г.). Через несколько времени пришлось ему быть свидетелем следующего «замечательного» (по его выражению) происшествия:

Помнится, в июле месяце отдан приказ, чтоб выводить роты на большое парадное место в три часа поутру. Прапорщик Державин приехал на ротный плац в назначенное время. К удивлению, не нашел там не токмо капитана, но никого из офицеров, кроме рядовых и унтер-офицеров; фельдфебель отрепортовал ему, что все больны. Итак, когда пришла пора, он должен вести один людей на полковое парадное место. Там нашел майора Маслова, и прочие роты начали собираться. Когда построились, сказано было: «к ноге положи», и ученья никакого не было. Таким образом прождали с 3-х часов до 9 часа в великом безмолвии, недоумевая, что бы это значило. Наконец от стороны слобод, что на Песках, услышали звук цепей. Потом показались взводы солдат в синих мундирах. Это была Семеновская рота. Приказано было полку сделать карре, в которой, к ужасу всех, введен в изнуренном виде и бледный унтер-офицер Оловянишников и с ним 12 человек лучших grenадер. Прочтен указ императрицы и приговор преступников. Они умышляли на ее жизнь. Им учинена торговая казнь; одели в роговое рубище и тут же, посажав в подвезенные кибитки, отвезли в ссылку



в Сибирь. Жалко было и ужасно видеть терзание их катом\*, но ужаснее того мысль, как мог благородный человек навлечь на себя такое бедствие. Однакоже таковых умышлений на императрицу было не одно сие (окроме возмущения влодея Пугачева, которое будет ниже несколько обстоятельнее описано, потому что в усмирении оного участвовал и Державин), и именно гласные, не говоря о невышедших наружу: скоро по коронации в Москве Хрущевы и Жилинский; по возвращении в Петербург Озеровский и Жилинский; первые ошельмованы на эшафоте передомленным шпаг и разосланы на житье по их деревням, вторые в каторжную работу в Сибирь, а Пугачевский [бунт] успокоен с большим кровопролитием в междоусобной брани.

Вскоре после этого Державин по собственной просьбе взят был Бибиковым, отправлявшимся для усмирения Пугачевского бунта. Он очень подробно рассказывает о своих подвигах против мятежников: он чуть ли не считал себя спасителем всей страны; по крайней мере, только его распорядительность, по его словам, не допустила мятежу распространиться в то время, как Пугачев, преследуемый войсками императрицы, бежал через Саратов. Но все мы видим, что это только приятные фантазии человека очень усердного, быть может и очень мужественного, а все-таки не бывшего в таком положении, чтобы сделать что-нибудь значительное. Из действий Державина во время Пугачевского бунта важнее всего остального ссора его с саратовским комендантом Бошняком, в которой все находили неправым Державина, а сам Державин считает себя совершенно правым. Но это дело давно известно публике по рассказу Пушкина в «Истории Пугачевского бунта» и вновь касаться его здесь нет надобности. За исключением эпизода ссоры с Бошняком, весь длинный рассказ Державина о действиях против Пугачева очень скучен, мелочен и вообще таков, что трудно по нем составить себе ясное понятие о происшествиях. Если Державин и был, как сам полагал, отличным военным правителем и командиром, то военным историком он не был. Потому, пропуская всю эту часть его записок, переходим прямо к возвращению его в Москву с Поволжья. Первый дебют его по возобновлении службы в гвардии был неудачен. Пока он воевал с мятежниками, порядок команды при отводе караула несколько изменился: прежде, останавливая взвод, приведенный на караул, говорили: «левый, стой! правый, заходи!», а теперь велено было командовать просто: «вправо заходи!» Не зная об этой перемене, Державин скомандовал по-старому, «и встала беда»: он наряжен был «на палочный караул».

Сие наипаче поразило честолюбивую его душу, когда представлял он себе, что давно ли вверено ему было толь важное поручение, в котором мог он двигать чрез свои сообщения корпусами генералов, брать деньги в городах, сколько хотел, посылать лазутчиков, казнить смертию, воспрепятствовал злодеям пробраться по Иргизу во внутренние, не огражденные никем провинции, и защитил, так сказать, своим одним лицом от расхищения Киргизцами все иностранные колонии, на луговой стороне Волги лежащие, чем совокупно спас паки и империю, и славу государыни императрицы, которая,

\* Палачом. — Ред.

выписав их из чужих земель, приняла под свое покровительство и обещала устроить их блаженство прочнее, нежели в их отечестве. Но за все сие вместо награды получил уничтожение пред своими собратиями гвардии офицерами, которые награждены были деревнями, а он не только оставлен без всякого уважения, но, как негодяй, наряжен был на палочной караул.

«Таковыми чувствами возмятенный», Державин вздумал было искать защиты у известного историка Щербатова<sup>6</sup>, который выражал перед тем желание познакомиться с ним. Но князь Щербатов сказал, что пособить ему не в силах. Вернувшись на квартиру «и размыслив неприязнь к себе сильных людей и не имея ни единой подпоры», Державин «пролил горькие слезы», тем больше, что денежные дела его находились в расстройстве: он поручился за приятеля, оказавшегося несостоятельным, и его собственное поместье собирались продать с аукциона. Однакоже, «возвергнув печаль свою на бога», решился он действовать отважнее и поехал к Потемкину просить себе награды за действия против Пугачева. Потемкин ничего не сделал для него; но, принявшись снова играть в карты, Державин выпутался из затруднения: на 50 рублей он выиграл до 40 000 рублей, заплатил долг и мог жить порядочно. Еще несколько раз обращался он с просьбами к Потемкину<sup>7</sup>, к другим сильным людям, к самой императрице, доказывая свои права на награду. Много раз ему отказывали; наконец в ноябре 1776 года попал он с своею просьбою к Потемкину в счастливую минуту. — «Чего же вы желаете за свою службу?» — спросил князь. — «Я ничего не желаю, коль скоро служба моя благоудною ее величеству показалаась», отвечал Державин. — «Вы должны непременно сказать», — продолжал Потемкин.

— Когда так, — с глубоким благоговением отозвался проситель: за производство дел по секретной комиссии желаю быть награжденным деревнями равно с сверстниками моими, гвардии офицерами; а за спасение колоний по собственному моему подвигу, как за военное действие, чином полковника». — «Хорошо», князь отозвался, «вы получите».

Но опять прошло несколько месяцев, награды не было, и Державин, по собственному выражению, «принужден был еще толкаться у князя в передней». Наконец, проходя однажды через приемную залу, где был Державин, Потемкин «сквозь зубы» сказал своему правителю канцелярии: «напиши о нем докладную записку». Правитель канцелярии не знал, что писать в докладной записке, и попросил самого Державина написать ее. «Сей изготовил по самой справедливости», в том смысле, что следует ему дать чин полковника. Потемкину показалось (по наговорам недоброжелателей, как полагает Державин), что чин полковника давать ему не за что, и Державин был вместо того перечислен в статскую службу с пожалованием в коллежские советники и с награждением тремя стами душ. Надобно было искать должности: должность нашлась таким путем: Державин успел войти в дом к тогдашнему генерал-прокурору князю Вяземскому<sup>8</sup>,

«и, проводя с ним дни, забывая время в карточной, тогда бывшей в моде, игре в вист... платил всегда проигранные деньги исправно и с веселым духом»: веселость духа сохранять было тем легче, что Вяземский с небогатыми людьми играл по маленькой. «Таковым поступком, всегда благородным и смелым, понравился ему, приобрел его благоволение». Открылось место эскутера в 1-м департаменте сената, Державин попросил и получил эту должность, довольно видную. Сенаторы уважали его, потому что он ежедневно бывал у Вяземского, «с князем по вечерам, для забавы, иногда играл в карты, а иногда читал книги, большую частью романы, за которыми нередко и чтец и слушатель дремали. Для княгини писал стихи похвальные в честь ее супруга, хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не всегда справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу».

Что делать, такие тогда были нравы. Но любопытно, что Державин, очень длинно рассказывая о своих просьбах, искательствах и похвальных стихотворениях, очень часто твердит, что никогда никого ни о чем не просил, что имел характер очень независимый, чуждый всякого искательства. При всей своей простоте он, вероятно, сообразил бы, что противоречит этими уверениями своим собственным рассказам, если бы полагал, что его рассказы о том, как он терся в передней у Потемкина и втирался в милость к Вяземскому, должны производить такое впечатление, какое производят на нас. Но по всему видно, что он и не предполагал возможности такого впечатления; видно, он сам и все его окружающие находили, что он кланяется и напрашивается, льстит и втирается гораздо меньше, чем было тогда в обыкновении.

Дела Державина стали поправляться. Тяжба о поручительстве его за несостоятельного товарища по его «просьбе и старанию в сенате, а паче по покровительству генерал-прокурора» решена так, что Державин приобрел поместье, в залоге которого ручался. В этом поместье было триста душ; еще триста душ были пожалованы Державину в награду; всего с родовым поместьем было у него теперь (около 1778 года) до тысячи душ, и он «взял намерение порядочным жить домом, а потому и решился твердо в мыслях своих жениться». Решившись жениться, он тотчас же влюбился и скоро сыграл свадьбу с своею Пленирою, как называл ее в стихах. В течение трех с лишком лет, пока он занимал должность эскутера, случились, по его словам, два замечательные происшествия: первое состояло в том, что он отлично убрал залу общего собрания сената; второе пусть расскажет он сам:

В 1780 году, будучи в Петербурге, австрийский император Иосиф под чужим именем посещал сенат и, вступя в залу общего собрания, расспросил о производимых в ней государственных делах, сказал сопровождавшему его эскутеру: «Подлинно в пространной толь империи может совет сей служить великим пособием императрице».

Но вот факт, который уже действительно замечателен. В конце 1780 года учреждена была «экспедиция о государственных доходах», делившаяся на четыре части: приходную, расходную, счетную и недоимочную. В каждой части было по особенному председателю с тремя советниками. Державина назначили советником во второй отдел экспедиции: и как бы вы думали?.. Оказалось, что он, имевший о финансах ровно такое же понятие, как о французском языке (о котором еще будет анекдот), — самый знающий человек не только в своей части, но и в целой экспедиции, то есть в целом управлении финансами русской империи. Каким образом успели набрать пятнадцать человек, еще менее Державина знакомых с финансами, это непостижимо; но не нашлось в экспедиции никого, кроме Державина, кому было бы поручить «написать должность экспедиции о государственных доходах», то есть устав финансового управления целой империи. Способным к этому сочли его потому, что еще когда он был экзекутором, то «уже поручил ему генерал-прокурор следствие над сенатскими секретарями, что они ленились ходить на дежурство свое». Итак, Вяземский приказал написать, и Державин написал устав. Об этой процедуре он очень любопытно рассказывает с обычным своим простодушием. Генерал-прокурор Вяземский, управлявший всеми отраслями внутренних дел, в том числе и финансами,

не надеялся, чтоб несведущий законов мог написать правила казенного управления, требующие великого предвидения, осторожности и точности, но, однако, приказал. Что делать? должно исполнить волю начальника; а как не хотел пред ними (перед своими соперниками, Васильевым и Храповицким) уклониться и испрашивать у них мыслей и наставления, то, собрав все указы, на коих основаны были камер- и ревизион-коллегии, стат-конторы и самые новые учрежденные экспедиции, приступил к работе, а чтоб не разбивали его плана и мыслей, заперся и не велел себя сказывать никому дома. Поскольку ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и, наконец, чрез две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи, представил начальнику, а сей, собрав все экспедиции, велел пред ними прочесть; но как никто не говорил ни хорошего, ни худого, то князь, желая слышать справедливое суждение, морщился, сердился, привязывался и, наконец, принялся поправлять сам единственно вступление или изложение причин названного им начертания должности экспедиции о государственных доходах, полагая, что без оного никаким образом не можно будет управлять казною государственною, давая разуметь, что наказ или полную инструкцию сама императрица издать изволит. Товарищи думали, что без них не обойдется, что не удостоится конфирмации сие начертание и что их будут переделывать оное испрашивать; однако, к великому их удивлению, чрез графа Безбородку получил князь высочайшую конфирмацию, что по оному велено было поступать. Хотя должно было по листам скрепить и исправить или контра-сигнировать сию книгу Державину, яко писавшему оную, но присвоил сию честь Храповицкий, в каком виде должна она и поныне существовать в экспедиции о государственных доходах и есть оной правилом, ибо не слышно, чтоб дана ей была какая новая инструкция.

Скоро Державин стал ссориться с генерал-прокурором Вяземским, своим бывшим покровителем. Нам нет нужды рассматри-

вать, отчего возникло неудовольствие Вяземского: от неуместной ли горячности, которой надоедал Державин каждому, или действительно от интриг завистников и наушников, чем объяснял дело сам Державин; по всей вероятности, было и то, и другое. Но для характеристики нравов нам нет надобности разбирать, как именно происходил тот или другой отдельный случай: довольно того, что Державин рассказывает его известным образом, находя, что рассказ покажется правдоподобен и что все читатели назовут рассказчика правым. У Державина произошло разноречие с другим советником, Бутурлиным, о том, как лучше ревизовать отчетность казенных палат; Бутурлин, по выражению Державина, «забежал к Вяземскому и оклеветал чем-то своего противоборца». Когда Державин явился с докладом, князь «зачал придираяться», а Бутурлин, «тут же стоя, начал потакать начальнику и подъяривать его на товарища, хотя сам ничего не писал и не умел писать». Державин, рассердившись, «сунул Бутурлину в руки бумаги, сказав: «Пишите же вы сами, коли умеете лучше». Вяземский принял это за неуважение к себе и на другой день сказал ему через Васильева, чтобы он подал в отставку. Державин исполнил это с большим достоинством. Он явился к Вяземскому, когда тот сидел «окруженный многими прихлебателями»,

и с благородною твердостью духа сказал: «ваше сиятельство чрез г. Васильева изволили мне приказать подать челобитную в отставку; вот она; а что изъявили свое неудовольствие на мою службу, то как вы сами недавно одобрили меня пред ее величеством и исходатайствовали мне чин статского советника за мои труды и способности, то предоставляю вам в нынешней обиде моей дать отчет тому, пред кем открыты будут некогда совести наши». Сказав сие, не дождавись ответа, вышел вон. Глубокая тишина сделалась в комнате, между множества людей.

Дело было на даче Вяземского. Державин пошел пешком на другую дачу, бывшую в двух верстах, где ждала его жена. Скопфуженный Вяземский приказал подать ему карету, но Державин поблагодарил, не принял кареты и пошел пешком. Васильев приехал к нему, сказал, что князь раскаивается, желает, чтобы он остался служить,

но только с тем, чтоб он, Державин, сделал на другой день вид, якобы у него хсчет просить прощения в своей горячности, и позвал бы его при случившихся посетителях в кабинет будто для объяснения. Обиженный, подумав и вспомня пословицу, чтоб с сильным не бороться, а с богатым не тягаться, согласился исполнить волю пославшего г. Васильева.

На другой день он опять явился к Вяземскому, «приноровив так после обеда, что много еще было у генерал-прокурора гостей», и просил позволения объясниться с ним в кабинете. Вяземский, улыбнувшись, сказал: «пожалуй, мой друг, изволь»; и этою формальностью дело было улажено. Державин полагает, что до конца выдержал независимость характера. Но, несмотря на при-

мирение, Вяземский остался сердит, отчасти за это дело, отчасти за оду Фелице, поправившуюся Екатерине.

С того времени закрадась в его сердце ненависть и злоба, так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог, привязывался во всяком случае к нему, не только насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу.

Но, говорит Державин, все это «снесено было с терпением близь двух годов». Новая неприятность постигла его по делу такого рода. При новой ревизии число душ оказалось увеличившимся, должны были увеличиться и суммы, доставляемые подушной податью. Но Вяземский велел оставить в подносимых государыне табелях государственного дохода прежнюю цифру подушного сбора. Державин доказывал, что не следует утаивать новых, увеличившихся цифр, — его не послушались. Не говоря своим товарищам и Вяземскому, он высчитал увеличение дохода по документам, доставленным из казенных палат, и представил Вяземскому новую табель доходов, сказал: вы приказали не составлять новых табелей, а поднести государыне прежние. Это исполнено: но чтобы не подвергнуться нам и вам беде, я составил и новые табели, по которым можно показать настоящее состояние государственной казны. «С сим словом, вместо благодарности за предостережение и труды, вспылала никем не ожидаемая страшная буря». Вяземский стал браниться. «С чувствительным огорчением, так что пролились из глаз слезы, прияв сей выговор, советник сказал: «Рассмотрите мои табели и тогда уже браните». Табели были отданы на рассмотрение общему собранию экспедиции о доходах; она принуждена была сознаться,

что новую табель составить и поднести ее величеству можно, по которой нашлось более против прошлого года доходов 8 000 000. Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника, как он прочел сей акт... Не хотел (Вяземский) открыть точного доходу, чтобы держать себя более во уважении, когда при нужде в деньгах он отзовется по табели неимением оных, но после будто особым своим изобретением и радением найдет оные кое-как и удовлетворит требование двора.

Державин увидел, что служить ему у Вяземского уже невозможно, вышел в отставку (в феврале 1784) и собирался съездить в деревню погостить у матери, когда императрица (в мае того же года) назначила его губернатором в Олонец.

Олонецким наместником, то есть прямым начальником губернатора, лицом, имевшим генерал-губернаторские обязанности только без титула генерал-губернатора, был тогда генерал-поручик Тутолмин<sup>9</sup>. Сначала он был хорош с Державиным, но скоро началась ссора, причину которой Державин излагает следующим образом. Тутолмин

прислал в губернское правление при своем предложении целую книгу законов, им написанных и императорскою властью не утвержденных, требуя, чтобы они в том правлении, в палатах и во всех присутственных местах

непрерывно исполняемы были; но как они во многих местах с существующими коренными законами и самою естественною связию дел не токмо не сообразны, но даже и неудобоисполнительны были; удивясь таковой дичи и грубому дерзновению, усумнился Державин принять те законы к исполнению, а для того пошел к нему в дом, взяв с собою печатной указ, состоявшийся в 1780 году, в котором воспрещалось наместникам ни на одну черту не прибавлять своих законов и исполнять в точности императорскую только властью изданные; ежели ж в новых каковых установлениях необходима нужда окажется, то представлять сенату, а он уже исходатайствует ее священной волею. Прочетши сей закон, наместник затрясся и поблдедел.

Законы, сочиненные наместником, разумеется, остались без исполнения, но Тутолмин сказал, что будет ревизовать губернские места. Ревизию начал он с губернского правления, председателем которого был губернатор. Он хотел, «по глупому честолюбию и чрезвычайному тщеславию, чтобы была ему встреча сделана, так сказать, императорская, то есть губернатором и всеми присутствующими чинами на крыльце». Но Державин принял его по регламенту в зале присутствия; наместник раздражился больше прежнего, пробовал привязываться к делам и даже к мебели губернского правления, но, «ничего не смысля в законах», не сумел поддержать своих замечаний. Когда он из губернского правления отправился в другие присутственные места, Державин не поехал провожать его; наместник разобиделся еще больше, и по окончании ревизии, похвалив в досаду губернатору казенную и уголовную палаты, имевшие особенных председателей, объявил, что едет в Петербург жаловаться на губернатора. Когда Тутолмин уехал в Петербург, Державин принял свои меры: он сам обревизовал тогда присутственные места, чтобы выказать неисправность палат, которые были расхвалены наместником, и нелепость распоряжений самого наместника.

Само по себе открылось великое неустройство и несогласица с существовавшими законами и регламентами, по коим места должны были отправлять их должности, ибо они поступали не по законам, а по новым постановлениям наместника. Словом, обнаружилось не токмо наглое своеволие и отступление наместника от законов, но сумасбродство и нелепица, чего исполнить было не можно, или по крайности бесполезно. Например: предписал он в должность экономии директора, чтоб сажать и сеять всякой год поселянам леса; но как в Олонеккой губернии почти по всем уездам были непроходимые леса, то сие учреждение, годное на Екатеринославскую губернию, для которой в бытность его там губернатором было оно написано, совсем не годилось для Олонеккой. Также и по другим палатам и судам такие были табели и предписания, что более смеха, нежели какого-либо уважения, достойны. Установлены такие между прочим сборы и подати, о коих в правилах казенного управления ниже одним словом не упоминалось.

Формальным образом обнаружив таковые сумасбродства, Державин послал о них донесение к императрице в оправдание свое.

Формального ответа не было; но известно после стало, что наместник был лично призван пред императрицу, где ему прочтено было донесение губернаторское, и он должен был на коленях просить милости.

Благодаря этому Державин удержался в Олонце еще на несколько месяцев. Но случилось происшествие, доставившее торжество Тутолмину. Генерал-прокурор Вяземский, главный правитель всех внутренних дел, держал сторону Тутолмина. В угодность ему и Тутолмину прокуроры и стряпчие беспрестанно подавали протесты в губернское правление.

Между прочими, коих всех описывать было бы пространно и ненужно, подан был протест от прокурора в медленном якобы течении дел. Сие было одно пресмешное о медведе. Надобно его описать основательнее, дабы представить живее всю глупость и мерзость пристрастия. По отъезде наместника, скоро и брат его двоюродный полковник Николай Тутолмин, бывший председателем в верхнем земском суде, отпущен был в отпуск на 4 месяца. На Фоминой неделе того суда заседатель Молчин шел в свое место мимо губернаторского дома поутру; к нему пристал или он из шутки заманил с собою жившего в доме губернатора у ассессора Аверина медвежонка, которой был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его приласкивал. Приведши его в суд, отворил двери и сказал прочим своим сочленам шутя: «вот вам, братцы, новый заседатель, Михаил Иванович Медведев». Посмеялись и тотчас выгнали вон без всякого последствия.

Державин сказал Молчину, что даст ему «сильный напругай», если дело дойдет до него формально. Но формально дело о медвежонке пошло не к Державину, а к Тутолмину.

Шишков, заседатель того же суда, в угождение наместника, довел ему историю сию с разными нелепыми прикрасами, а именно, будто медвежонок, по приказанию губернатора, в насмешку председателя Тутолмина (худо грамоте знающего), приведен был нарочно Молчиным в суд, где и посажен на председательские кресла, а секретарь подносил ему для скрепы лист белой бумаги, к которому, намарав лапу медвежонка чернилами, прикладывали, и будто как прочие члены стали на сие негодовать, приказывая сторожу медвежонка выгнать, то Молчин кричал: «Не трогайте, медвежонок губернаторской».

Председатель верхнего земского суда Тутолмин, возвратившись к должности, подал жалобу на обиду, ему нанесенную; губернское правление решило дело тем, чтобы сделать выговор Молчину. Но наместник Тутолмин объявил, что этого наказания мало, а надобно отдать Молчина под уголовный суд. Державин отвечал, что по закону не может переменять постановлений губернского правления, а предоставляет наместнику рапортовать на него в сенат. Тутолмин так и сделал. Вяземский рад был жалобе и говорил сенаторам: «вот, милостивцы, смотрите, что наш умница стихотворец делает: медведей председателями». Державина перевели в Тамбовскую губернию. Чтобы Тутолмин не мог вывести новых жалоб на какие-нибудь неисправности бывшего губернатора по его отъезде, Державин, сдавая должность, подробно осмотрел подведомственные ему места и привел в порядок их дела. При ревизии Приказа Общественного Призрения<sup>10</sup> нашлось, что казначей Грибовский (бывший впоследствии статс-секретарем, автор известных мемуаров<sup>11</sup>) выдал по определению за подписью одного губернатора без советников купцам заимо-



образно, без расписки их в шнуровых книгах, 7 000 рублей и что недостает в наличности более 1 000 рублей. Призвав к себе Грибовского, Державин убедил его сделать письменное признание в том, что недостающие деньги проиграл он в карты любимцам наместника: вице-губернатору, губернскому прокурору и председателю уголовной палаты. Тогда Державин поодиночке призвал к себе вице-губернатора, прокурора и председателя уголовной палаты, показал каждому из них признание Грибовского, и они перетрусили. После того заставил он и купцов расписаться в деньгах, ими взятых, а недостающие деньги внес свои. На другой день прокурор явился в губернское правление с протестом, в котором говорил, что губернатор призывал его к себе ночью и показывал ему бумагу, несправедливо замешивавшую его, прокурора, в карточные дела.

Губернатор принял его со смехом, сказав, что он все затевает пустое, что он его никогда к себе не призывал и деньги никакие в приказах не попадали, в удостоверение чего поручает ему самому свидетельствовать денежную казну и книги по документам. Прокурор удивился, сходил в приказ и, нашед все в целости и в порядке, возвратился. Губернатор, изобразив протест, возвратил ему как сонную грезу, и, приказав подать шампанского, всем тут бывшим и прокурору поднес по рюмке, выпивал сам, и отправился в Петербург, оставя благополучно навсегда Олонецкую губернию и не сделав никого несчастливим и не заведя никакого дела.

По приезде в Тамбов (весною 1786) Державин сначала жил очень согласно с генерал-губернатором рязанским и тамбовским, графом Гудовичем, который был особенно доволен заботами губернатора «по приласканию общества». Державин давал праздники, которые

не токмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества, а особливо дворянства, которое, можно сказать, так было грубо и необходимо, что ни одеться, ни войти, ни обращения, как должно благородному человеку, не умели, или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье собрания, небольшие балы, а по четвергам концерты, в торжественные же, а особливо в государственные праздники — театральные представления, из охотников благородных молодых людей обоего пола составленные. Но не токмо одно увеселение, но и самые классы для молодого юношества были учреждены по-прежнему в доме губернатора таким образом, чтоб преподавание учения дешевле стоило и способнее и заманчивее было для молодых людей.

Для танцевальных уроков выписал он танцмейстера с дочерью, для преподавания молодым дворянам и дворянкам грамматики, арифметики и геометрии пригласил учителей из народных училищ. Дворяне были довольны заботливостью о их детях, а дети, или, лучше сказать, молодые люди учились с удовольствием, потому что жена Державина, на попечении которой лежали эти праздники и уроки, принимала своих гостей очень любезно. При Державине произошло в Тамбове открытие народного училища, и об этом торжестве он рассказывает одну занимательную подробность. При открытии училища надобно было

сказать речь. Губернатор просил об этом тамбовского преосвященного Феодосия, но [так как] он

был человек и неученой, и больной, то он отказался. Губернатор убеждал, чтоб он приказал своему хотя проповеднику то исполнить; но и в том не успел, ибо тот проповедник был дьяконом, не смотря на то, хоть без всяких талантов, но человек притом невоздержный и на тот раз пил запоем. Губернатор послал в город Ломов к архимандриту, человеку ученому, который, хотя по духовному правительству принадлежал Тамбовской епархии, но по губернскому правлению Пензенской губернии. Сей обещал приехать, но дня за три до назначенного дня прислал курьера с отказом, сказав тому причину, что пензенский губернатор требует его в Пензу для сей же надобности. Получа сие, Державин не знал, что делать.

Но вдруг вспомнил он о человеке, который мог заменить отказывавшихся проповедников.

Хаживал к губернатору из города Козлова однодворец Захарьин, которой принашивал ему сочинения своего стихи, большею частию заимствованные из священного писания. В них был виден нарочитый природный дар, но ни тонкости мыслей, ни вкуса, ни познания не имел.

Вот этому Захарьину Державин поручил написать речь. Тот написал, но речь оказалась «сущим вздором, ни складу, ни ладу не имеющим». Державин растолковал ему, как надобно поправить речь. Захарьин поправил, переписал: речь оказалась попрежнему нелепицей. Тогда Державин сам продиктовал ему речь по собственным мыслям, «которые он в течение дня в голове своей собрал и расположил в надлежащий порядок». Но тут явилась новая задача: отыскать приличное место, «где бы ему ту речь по состоянию его сказать можно было», — в церкви говорить однодворцу нельзя, потому что он не церковнослужитель, в школе «также не вместно», потому что он не учитель: как тут быть? Наконец Державин придумал:

Приказал ему, чтоб, когда процессия духовная будет возвращаться после освящения училища в собор, то чтоб он, остановив ее, начинал свою речь, которая начиналась таким образом: «Державо останови тебя, почтенное собрание, среди шествия твоего» и пр. Сие в точности так было исполнено. Когда преосвященный со всем своим духовным причетом, отслужив молебен и окропив святою водою классы, хотел с собранием всех чинов выйти из училища, то однодворец остановил его вышписанным началом речи; и губернатор тотчас подвинул их в училище, где уже и говорена была речь перед портретом императрицы порядочно; но при том месте, где он предавал в покровительство государыне сына своего, жена его, стоявшая за ним с малолетним его младенцем, отдала ему оного, а он положил его пред портретом, говоря со слезами те слова, которые там написаны. Сие трогательное действие так поразило всех зрителей, что никто не мог удержаться от сладостных слез, в благодарность просветительнице народа пролианных, и надавали столько оратору денег, что он несколько недель с приятелями своими не сходил с кабака, ибо также любил куликать.

Державин очень гордился этой речью. Но за таким успехом последовали огорчения. Генерал-губернатор стал сердиться на Державина (по словам самого Державина) за то, что он восстал против неправильной отдачи винного откупа ненадежным лицам

и за слишком малую цену. Скоро представился случай удалить в отставку строптивного губернатора. Поставщик армии Потемкина, купец Гарденин, заподрядив большие количества хлеба для войска, явился в Тамбов с требованием из казенной палаты денег на уплату за купленный провиант. Он предъявил сенатский указ, повелевавший всем казенным палатам отпускать ему суммы, какие потребуются. Но тамбовская казенная палата объявила, что денег у нее нет. Задатки Гарденина должны были пропасть, а войско остаться без провианта. Державин, по жалобе Гарденина, велел вице-губернатору (тогда вице-губернаторы были председателями казенных палат) не задерживать выдачи денег. Вице-губернатор повторил, что денег нет, и уехал из города осматривать какой-то винокуренный завод. Тогда Державин сам освидетельствовал книги и суммы казенной палаты и по освидетельствовании оказалось вот что:

Ассигнационного банка суммы более 150 000 рублей валялись вовсе без записки, из коих, носился слух, раздаваны вице-губернатором в займы казенные деньги без процентов и без залогов, кому хотел; также неокладные доходы, как-то: за гербовую бумагу, за паспорта, сбирались без записки в приход; провиантских и комиссариатских сумм было налицо, неизвестно почему удержанных и не высланных в места, куда ассигнованы, около 200 000, то есть несравненно более, чем Гарденин требовал; словом, почти вся записная книга была белая, документы разбросаны или и совсем растеряны, и неизвестные какие-то деньги нашлись у присяжных по коробкам, так что оказывалось в растере или похищении казенных денег более 500 000 рублей.

Вице-губернатор и его партия подняли жалобы; генерал-губернатор принял их сторону, донес, что Державин производил свидетельствование сумм с притеснениями чиновникам казенной палаты, приезжал сам в Тамбов и имел с Державиным «довольно горячий разговор», при котором, однакоже, по словам Державина, «никакой непристойности не было». Через несколько времени был

получен указ из сената, последовавший по жалобе наместника, в коем многие глупые небылицы и скаредные клеветы на Державина написаны были. Между прочим, что будто он его за ворот тащил в правление.

Державин говорит, что нетрудно было бы ему опровергнуть все эти «нелепицы», но

как знал он канцелярский обряд, что не на справках основанные ответы подлежат сумнению и что начальничьи донесения более возымеют весу, нежели его ответы, то, отлучив его от должности, предадут дело в сенат к законному суждению, а сенат несколько лет будет собирать справки, которые в удобность генерал-губернатора будут такие, какие ему только будут удобны; словом, ежели не обвинят, то вечно просудят, чего им только и хотелось, дабы не допускать Державина в столицу или лучше до лицезрения императрицы; ибо таков есть закон: кто под судом, то не допускается к двору. Державин, все это предвидев, взял меры, дабы отвратить от себя толь злобою ухищренную напасть.

Не объявляя сенатского указа, он призвал к себе секретарей, велел им навести справки, каждому по своей экспедиции, о тех делах, которых касается сенатский указ, и представить ему эти справки формальным порядком. Секретари и советники подписали справки, не зная, зачем они требуются; губернский прокурор пропустил их; тогда Державин, имея в руках документы, объявил в губернском правлении сенатский указ и тотчас отправил в Петербург свой ответ со справками, показывавшими неосновательность обвинений, принятых сенатом. Гудович страшно рассердился; его петербургские друзья положили ответ Державина под сукно, составили по новой жалобе Гудовича доклад, удалявший Державина от должности и предававший его суду. Так в конце 1788 года прекратилось тамбовское губернаторство Державина, который в заключении этого отдела своих записок показывает в десяти пунктах пользу, принесенную Тамбову его управлением. Он старался сократить делопроизводство, улучшить порядок сбора податей и свидетельства сумм, исправил тюремный дом и ввел в нем чистоту и порядок, «чего прежде не было»,

а содержали в одной, так сказать, яме, огороженной палисадником, по несколько сот колодников, которые с голоду, с стужи и духоты помирали, без всякого о них попечения.

Кроме того, он старался улучшить судоходство по реке Цне, завел в Тамбове типографию для печатания циркулярных объявлений и т. д. Вообще, видно, что усердие к общей пользе у Державина было и что в денежных делах он был человек очень честный. Вело ли его усердие к какой-нибудь действительной пользе или только производило путаницу, этого мы не хотим решать, но кажется, что среди странных выдумок приходили ему в голову иногда и дельные мысли.

Следствие над Державиным должен был производить в Москве шестой департамент сената. Целых шесть месяцев упрашивал Державин, чтобы сделали доклад, но обер-прокурор шестого департамента, князь Гагарин, и сенаторы видели невозможность обвинить Державина, а с тем вместе знали, что генерал-прокурор князь Вяземский — враг ему, потому и не хотели решать дела. Предлогом бесконечных отсрочек было то, что один из сенаторов, князь Волконский, не ездит в присутствие по болезни: слушание дела отлагали до его выздоровления. А Волконский был совершенно здоров и не ездил в сенат только затем, чтобы другие могли отговариваться его болезнью. Державин, наконец, не выдержал, потребовал свидания с ним и сказал:

Вы, слава богу, князь, сколько я вижу здоровы, но в сенат выезжать не изволите, хотя там мое дело уже с полгода единственно за неприсутствием вашим не докладывается. Я уверен в вашем добром сердце и в благорасположении ко мне; но вы делаете мне притеснение из угождения только князю Александру Алексеевичу (Вяземскому), то я уверю ваше сиятельство,

что ежели будете длить и не решите мое дело так или сяк, я истребую моего оправдания, ибо уверен в моей невинности; то принужденным найдусь принести жалобу императрице, в которой изображу все причины притеснения моего генерал-прокурором, как равно и состояние управляемого им государственного казначейства самовластно и в противность законов, как он раздает жалованье и пенсии, кому хочет, без указов ее величества, как утаивает доходы, дабы в случае требования на нужные издержки показать выслугу пред государынею, нашедши якобы своим усердием и особым распоряжением деньги, которых в виду не было, или совсем оные небрежением других чиновников пропадали, и тому подобное; словом, все опишу подробно, ибо, быв советником государственных доходов, все крючки и норы знаю, где скрываются, и по переводам сумм в чужие края умышленно государственные ресурсы к пользе частных людей, прислуживавших его сиятельству; коротко, хотя буду десять лет под следствием и в бедствии, но представлю нелицеприятную картину худого его казенного управления и злоупотребления сделанной ему высочайшей доверенности. То не введите меня в грех и не заставьте быть доносчиком против моей воли, решите мое дело, как хотите, а там бог с вами, будьте благополучны.

Услышав такие угрозы, Волконский немедленно поехал в сенат, и дело Державина было окончено в одно заседание. Противники Державина были признаны несправедливыми, но прежний указ об удалении его от должности положили оставить в силе. Чтобы иметь возможность совершенно очиститься, Державину было нужно иметь в руках копию сенатского решения: а тогда не было еще закона позволять подсудимым рассматривать дело-производство о них. Державин купил копию решения у сенатского обер-секретаря за 2 000 рублей, приехал с нею в Петербург и послал по почте к императрице письмо, в котором только под формою собственной догадки высказывал, что если его могут винить за такие-то обстоятельства и поступки, то в них он может оправдаться такими-то фактами. Екатерина через статс-секретаря Храповицкого объявила ему свое благоволение и сказала, «что не может обвинить автора Фелицы». Он даже был приглашен к ее столу, потом получил позволение объясниться с нею по своему делу. Державин рассказывает эту аудиенцию так, как будто успел убедить государыню в своей правоте; но в записках Храповицкого сохранился словесный отзыв императрицы, показывающий, что она считала причиною постигавших его неприятностей горячность и неуживчивость его собственного характера<sup>12</sup>. Как бы то ни было, но императрица повелела выдать Державину жалованье за все время его подсудности, а Безбородко, враг Вяземского, прибавил в указе, чтобы продолжать выдачу ему жалованья и впредь до определения к месту.

Сие Вяземского как громом поразило, и он занемог параличом. Державин, однако, по старому знакомству, как бы ничего не примечая, ездил изредка в дом его и был довольно принят ласково.

Он был проникнут убеждением, что Вяземский злейший враг его, сам всячески старался вредить Вяземскому, а между тем, как видим, выказывал ему расположение. Видно, слишком боль-

шая двуличность была тогда в обычае, если Державин вперемежку с такими фактами беспрестанно говорит о прямоте своего характера.

Ему было обещано место, но прошло несколько месяцев, а места не давали. Он рассудил, что единственный путь для него поправить дела — войти в милость к Платону Александровичу Зубову<sup>13</sup>.

Но что делать? надобно было сыскивать случая с ним познакомиться; как трудно достигнуть до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что или почивает, или ушел прогуливаться, или у императрицы. Таким образом ходя несколько, не мог удостоиться ни одного раза застать его у себя. Не осталось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего написал он оду «Изображение Фелицы» и к 22 числу сентября, то есть ко дню коронавания императрицы, передал через Эмина, который в Олонецкой губернии был при нем экзекутором и был как-то Зубову знаком. Государыня, прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Это было в 1789 году. С тех пор он сему царедворцу стал знаком; но, кроме ласкового обращения, никакой от него помощи себе не видал. Однако один вход к фавориту делал уже в публике ему много уважения; и сверх того и императрица приказала приглашать его в Эрмитаж и прочие домашние игры, как-то на святки, когда они наступали, и прочие собрания.

Через несколько времени приехал в Петербург из армии Потемкин; ему очень хотелось, чтобы Державин прославил его победы своими одами, и потому Державин был принят у него ласково. В этой приязни был один случай, сам по себе очень ничтожный, но хорошо определяющий приемы, к каким приучались тогдашними нравами сильные люди.

Однажды призвав его в свой кабинет, отдал (Потемкин) письмо принца Делиня<sup>14</sup>, писанное к нему на французском языке, прося оное перевести на русский. Державин отговаривался незнанием первого; но князь сказал: «нет, братец, я знаю, что ты переведешь». — Принял и с пособием жены своей перевел, чем казался быть довольным и благодарил.

Около того же времени представился Державину случай предостеречь Платона Зубова от неприятной истории. Отец Зубова, человек корыстолюбивый, пользуясь сыновнею силою, захватил чужое поместье; помещик \* приехал в Петербург искать управы. Державин узнал об том, объяснил молодому Зубову дурной поступок отца, и Платон Зубов, человек, как надобно думать, благородного характера, заставил отца возвратить похищенное, чего мог бы и не делать при своем могуществе. Он ласкал Державина; ласкал и Потемкин, так что Державин решительно недоумевал, за кого ему держаться. Милостива была к нему и государыня, но, как видно, не считала его человеком серьезным. По крайней мере, вот что рассказывает сам Державин,

\* Отставной майор Бехтеев. — *Ред.*

нимало не подозревая, что рассказ свидетельствует против его мнения о себе, как о человеке, уважаемом за дельность. На пасху в 1790 году, когда придворные выходили из церкви после вечерни, государыня пригласила всех в Эрмитаж.

Лишь только вошли в залу и сделали по обыкновению круг, то императрица с свойственным ей величественным видом прямо подошла к Державину и велела ему за собою идти. Он и все удивился, недоумевая, что сие значит. Пришел в отдаленные Эрмитажа комнаты, начала приказывать тихо, как бы какую тайну, чтоб он сочинил Чичагову (то есть к бюсту Чичагова) надпись на случай мужественного его отражения в прошедшем году в Ревеле сильнейшего в три раза против российского флота шведского, которая была б сколько возможно кратка. Державин, приняв повеление, не мог, однако, отгадать, к чему было такое ничего не значущее поручение и что при толь великом собрании отведен был таинственно с важностью в толь отдаленные чертоги, тем паче, что на другой день, истоща все силы свои и в поэзии искусство, принес он сорок надписей и представил чрез любимца государыне, но ни одна из них ею не апробована; а написала она сама прозою, которую и ныне можно видеть на бюсте Чичагова. Опосле сие объяснилось и было ничто иное, как поддразнивание или толчок Потемкину, что императрица, против его воли, хотела сделать своим докладчиком по военным делам Державина и для того, его столь отличительно показала публике. Князь, узнав сие, не вышел в собрание и, по обыкновению его, сказавшись больным, перевязал себе голову платком и лег в постелю.

Если Потемкин сказался больным, если хотел показать, что рассержен, то уж наверное напрасно Державин приписывал огорчение князя «отличительному» своему разговору: да наверное и государыня не имела мысли сделать его своим докладчиком по военным делам. Она просто хотела пошутить над придворными, заставить их попусту ломать голову над содержанием таинственного разговора ее с Державиным. Бедняжка Державин не понимает, как смешно его ребяческое тщеславие, воображавшее, что Потемкин может позавидовать ему и что императрица в самом деле чуть не отдала Потемкина под его команду, когда она просто шутила, заказывая ему надпись, о которой едва ли вперед не знала, что он не сумеет написать ее. Итак, извольте видеть, Державин чуть-чуть не попал при дворе в такую силу, что Потемкин сказался больным от огорчения его успехами. Но через несколько дней после того происходил знаменитый бал, данный Потемкиным в Таврическом дворце; на бале были петы хоры, сочиненные Державиным, и Потемкин даже пригласил к своему столу стихотворца<sup>15</sup>. В ожидании обеда Державин отправился к директору канцелярии Потемкина Попову и там

свободный имел случай и довольно время объяснить (Попову), что мало в том описании (бала, данного Потемкиным: Державин затем и являлся к Потемкину, чтобы поднести это описание) на лицо князя похвал; но скрыл прямую тому причину, боязь неудовольствия от двора, а сказал, что как от князя он никаких еще благоденствий личных не имел, а коротко великих его качеств не знает, то и опасался быть причтен в число подлых и низких ласкателей, каковым никто не дает истинного вероятия; а потому и рассудил отнесть все похвалы только к императрице и всему русскому народу, яко

при его общественном торжестве, так, как и в оде: «На взятие Измаила»; но ежели князь примет сие благосклонно и позволит впредь короче узнать его превосходные качества, то он обещал превознести его, сколько его дарования достанет. Но таковое извинение мало в пользу автора послужило.

Потемкин, прочитав описание, рассердился, сказал, что обещать дома не будет, и Державин ушел домой некормленный. О, простота, простота! и она тоже поднялась было на хитрости; Державин, как видно, хотел кольнуть Потемкина скупостью на похвалы ему, хотел поощрить его этим к ближайшему ознакомлению поэта с великодушными его качествами, но достиг только того, что остался без обеда. Впрочем, он вздумал извлечь пользу и из этой неприятности: побежал к сопернику Потемкина Платону Зубову, но нет, пусть лучше он сам рассказывает:

Державин сказал о сем Зубову и не оставил, однако, в первое воскресенье, при переезде князя в Таврический его дом, засвидетельствовать ему своего почтения.

Продолжал он и потом, до самого отъезда Потемкина, дипломатизировать, кланяясь и ему, и Зубову, но пользы не получил ни от того, ни от другого. Особенно вменяет он это в вину Платону Зубову:

Граф Зубов хотя беспрестанно ласкал автора и со дня на день манил и питал в нем надежду получить какое-либо место, но чрез все лето ничего не вышло, хотя нередко открывал он ему тесные свои обстоятельства, что почти жить было нечем.

Надобно при этом вспомнить, что у Державина было тогда 1 200 душ. Не только важной должности не давал ему Зубов, — не хотел даже сложить с него казенного взыскания за какую-то неисправность, по какой-то, впрочем, не очень большой, поставке хлеба: Зубов и другие просто в глаза смеялись над ним. Но, прибегнув к сенатскому обер-секретарю \*, Державин успел повернуть дело в свою пользу. Чего не приходило ему в голову по поводу скупости «любимца», которому напрасно объяснял он свои заслуги: бедняк воображал между прочим, что Зубову «неприятна и самая пиэтическая его слава», как будто Зубов был соперником ему по рифмоплетству. Основанием такого дикого предположения служили факты, о которых Державин с своим обычным простодушием рассказывает следующее:

Казалось Державину, что неприятна ему (Платону Зубову) и самая пиэтическая его слава; ибо часто желал он сравнить или ссорить с ним помянутого г. Емина, который, как известно, также писал стихи. Он был до того дерзок, что в глазах фаворита не токмо смеялся, но даже порицал его стихи, а особливо оду «На взятие Измаила», говоря, что она груба, без смысла и без вкусу. Вельможа, с удовольствием улыбаясь, то слушал, а Державин равнодушно отвечал, что он ни в чем не спорит; но чтоб узнать, кто из них искуснее в стихотворстве, то просит позволения напеча-

\* Еремееву, обер-секретарю 1-го департамента сената. — Ред.



тать особо, на свой кошт, на одной стороне листа его критику, а на другой свою оду, и предать на рассуждение публики — кому отдадут преимущество, говорил он, тот и выиграет тяжбу. Но Емин не согласился.

Во всем мы готовы верить Державину; в одном только (да простят нам почитатели великого поэта) никак не верим: не верим, чтобы он равнодушно отвечал Эмину; наверное он горячился доупаду. Зубов явно потешался над ним, а он чуть ли не вообразил, что Зубов завидует его поэтической славе.

Наконец, однакоже, повернулись в пользу Державина неотступные просьбы у Зубова. Однажды Зубов спросил его, можно ли нерешенные дела переносить из одной губернии в другую по подозрению в пристрастии делопроизводителей первой губернии. Державин объяснил ему, что нельзя, указал и законы, которыми это воспрещено.

В первое после того воскресенье слышно стало по городу, что когда обер-прокурор Федор Михайлович Колокольцов, за болезнью Вяземского правя по старшинству генерал-прокурорскую должность, был по обыкновению в уборной для поднесения ее величеству прошедшей недели сенатских меморий, то она, вышед из спальни, прямо с гневом устремилась на него и, схватя его за владимирский крест, спрашивала, как он смел коверкать ее учреждение. Он от ужаса помертвел и не знал, что ответить; наконец, сколько-нибудь собравшись с духом, промолвил: «Что такое, государыня? я не знаю». — «Как не знаешь? Я усмотрела из мемории, что переводятся у вас в сенате во 2 департаменте, где ты обер-прокурор, нерешенные дела из одной губернии в другую».

Вечером, в тот же день, Зубов, «призвав Державина, объявил ему, что императрица определяет его к себе для принятия прошений и делает своим статс-секретарем, поручает ему наблюдение за сенатскими мемориями, чтобы он по ним докладывал ей, когда усмотрит какое незаконное сената решение». Это было в декабре 1791 года, и с той поры Державин опять пошел по службе вверх, впрочем, с частыми перерывами, происходившими теперь уже просто оттого, что он никак не умел понять, бывает ли у Екатерины II, потом у императоров Павла I и Александра I, время много заниматься теми второстепенными делами, длинными докладами о которых он неотступно надоедал им, как только получал должность, дававшую ему право личного доклада. Так, он с первого же раза очень скоро наскучил императрице Екатерине II своими неотвязными толками о сенатских мемориях. Но сам он иначе объясняет причину, по которой императрица, сначала слушавшая его благосклонно и внимательно, через несколько времени отстранила его доклады:

Сначала императрица часто допускала Державина к себе с докладом и разговаривала о политических происшествиях, каковым хотел было он вести подневную записку; но поелику дела у него были все роду неприятного, то есть прошения на несправедливые награды за заслуги и милости по бедности; а блистательные политические, то есть о военных приобретениях, о постройке новых городов, о выгодах торговли и прочем, что ее увеселяли

более дела прочих статс-секретарей, то и стала его редко призывать, так что иногда он недели пред нею не был, и потому журнал свой писать оставил; словом: приметно было, что душа ее более занята была военною славою и замыслами политическими, так что иногда не понимала она, что читано было ей в записках дел гражданских; но как имела необыкновенную остроту разума и великий навык, то тотчас спохватывалась и давала резолюции по крайней мере иногда несколько основательные, однакоже сносные, как-то: с кем-либо снести, переписать и тому подобные. Вырывались также иногда у нее внезапно речи, глубину души ее обнаруживавшие. Например: «ежели б я правила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была российскому скипетру». Или: «я не умру без того, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость Китая, и с Индией не осную торговлю». Или: «кто дал, как не я, почувствовать французам право человека. Я теперь вяжу узелки\*, пусть их развяжут». Случалось, что заводила речь и о стихах докладчика и неоднократно так сказать, прашивала его, чтоб он писал вроде оды Фелице. Он ей обещал и несколько раз принимался, запираясь по неделе дома; но ничего написать не мог, не будучи возбужден каким-либо патриотическим славным подвигом.

Пусть это и правда, пусть в самом деле слушание тяжebных дел меньше занимало императрицу, чем планы приобретения новых областей и расширения перевеса своего над соседями, но как же Державин, если понимал это, не действовал сообразно с такими данными? Ему следовало бы не доводить до нее мелких дел, излагать и крупные в самом сжатом виде. Но в его глазах приобретали громадную важность всякие мелочи, лишь бы он коснулся до них: он ничего не замечал, и ему казались выражением особенного благоволения те самые вещи, по которым человек более сообразительный заметил бы, что над ним подшучивают. В самом деле, императрица повторяла иногда шутку, которую в первый раз сделала по случаю надписи к бюсту Чичагова: «в публичных собраниях, в саду иногда сажала его подле себя на канаве, шептала на ухо ничего не значущие слова, показывая, будто говорит о каких-то важных делах. Что это значило, Державин сам не знал», но заключал, что его хотят посвятить в важные государственные тайны, вручить ему великую власть. По своему простодушному тщеславию, он думал, что пользуется «таким императрицы уважением, которое обращало на него глаза завистливых придворных». Прекращение мнимого особенного уважения он приписывает случайному обстоятельству, именно тому, что однажды, устроив для развлечения императрицы игру в горелки, он упал, вывихнул руку и должен был просидеть дома шесть недель. «В сие-то время, — говорит он, — недоброжелатели умели так расположить против него императрицу, что он по выздоровлении нашел ее уже совершенно переменившеюся». Месяца через полтора или два по выздоровлении он приехал с докладом во время дурной и холодной погоды; когда он велел доложить императрице о своем приезде, она чрез камердинера сказала ему: «удивляюсь,

\* Она обыкновенно, когда слушала дела, то вязала чулки или какие-то шнурки с узелками. — *Примечание Державина.*

как такая стужа вам гортани не захватит», и приказала ехать домой. На самом деле, редкий правитель мог бы долго вынести такого пространного докладчика: довольно сказать, что доклад его императрице по знаменитому делу Якоби «продолжался всякий день по два часа четыре месяца, с мая по август», но и тем еще не кончился, а после некоторого перерыва продолжался до ноября. Признаемся, мы решительно не понимаем, как это могло хватить материала на такой доклад, хотя бы даже о деле Якоби, привезенном «в трех кибитках, нагруженных сверху донизу».

Читатель видел много таких свидетельств Державина о самом себе, по которым, пожалуй, усомнится разделять наше мнение, что в сущности он был человек честный, прямодушный, старавшийся отстаивать правду, насколько позволяли его очень отсталые понятия. Но вот, например, это самое дело Якоби, длина доклада о котором поражает своею нелепостью, служит доказательством правдивости Державина: когда дело попало в руки Державина, все считали Якоби уличенным преступником и сама императрица не сомневалась в его преступлениях. Державин, увидев, что Якоби обвинен напрасно, защищал его с большою твердостью. Сущность этого знаменитого государственного процесса он излагает так:

В 1783 году Якоби был назначен сибирским генерал-губернатором. Он в то время пользовался благосклонностью генерал-прокурора Вяземского. Перед отправлением своим на генерал-губернаторство он ежедневно посещал Вяземского.

Обласкан был княгиней и прочими живущими у князя, между коими понравилась ему дочь вышеупомянутого обер-прокурора, что был после сенатором, Ивана Гавриловича Рязанова, которая, как говорили злоязычники, была в любовной связи с князем и, вероятно, с согласия княгини. Она, приметив сие, сказала супругу. Рады были такому жениху и стали принимать его еще дружественнее, довели до настоящего сватовства: уже жених невесту дарил бриллиантами. Искреннею ли любовью пленен был генерал-губернатор к сей девице, или только, чтоб чрез нее получить все требования и прихоти свои от генерал-прокурора, как-то определять в места кого куда хотел, давать чины своим приверженцам и прочее; но сие очень много значило, а особливо в таком отдалении, каков пространный Сибирский край. Все думали, что он женившись уже отправится к своей должности. Ожидали только докладу императрицы; но накануне оного любимец ее бывший тогда, Александр Дмитриевич Ланской<sup>16</sup>, призывает его к себе, спрашивает о справедливости разнесшегося слуха и запрещает именем императрицы совершать сие супружество, а напротив того, объявляет ее волю, чтоб он поскорее ехал в назначенное ему место и открывал в Иркутске губернию по образу ее учреждения<sup>17</sup>. К сему враждующая против князя Вяземского партия графов Безбородка, Воронцова и прочие прибавили, будто императрица проговорила: «Я не хочу, чтоб князь Вяземский выдавал свою Рязанову за Якоби и за ней жаловал ему в приданое Сибирь». Может быть, под сим она разумела, что если будут в тесном и столь коротком между собою союзе генерал-прокурор с генерал-губернатором, то целый край, столь обширный и отдаленный, будет в совершенном их порабощении, и правды уже там не учинят. Она, зная их характеры, может быть, была и права.

Якоби уехал, обещавшись вернуться через год, чтобы жениться. Но через год он прислал рапорт, что важные дела удерживают его в Сибири, и отказался от невесты.

Получа сие известие, князь, сказывают, проговорился, что он жив не будет, ежели не отомстит такую наглую обиду. Кто у них по справедливости виноват, бог знает. Сам ли собою это сделал Якобий или во угождение двора; но имея великую душу, кажется бы, нашел средство иначе поступить. С другой стороны, столь низку быть генерал-прокурору, как ниже увидим, непростительно.

Через несколько месяцев некто Парфентьев прислал на Якоби донос, в котором важнейшим обвинением было, что Якоби хочет поднять войну с Китаем, чтобы получить через нее больше важности. Якоби вызвали в Петербург, и дело тянулось целых семь лет. Наконѣц открылось, что те действия Якоби, на которых основывалось главное обвинение, было прямым исполнением тайной инструкции, данной ему самою императрицею; нашелся даже указ об этом в архиве Иностранной коллегии. Государыня, будучи недовольна неприязненными действиями китайцев, приказывала Якоби отвечать на них также неприязненными мерами, и вот эти-то меры семь лет выставлялись доказательством, что Якоби самовольно хотел начать войну с Китаем. Когда императрице припомнилась инструкция, она увидела невинность Якоби и подписала указ о его оправдании. Но сначала ей не была объяснена сущность дела, и Державину нужно было много гражданского мужества, чтобы не отступить от изложения процесса в том духе, как он сам понимал его: «При продолжении Якобиева дела, говорит он, она вспыхивала», и рассказывает такой случай:

В один раз с гневом (императрица) спросила, кто ему приказал и как он смел с соображением прочих подобных решенных дел сенатом выводить невинность Якобия. Он твердо ей отвечивал: «Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешила чем в правосудии». Она покраснелась и высладала его вон, как и нередко то в продолжение сего дела случалось.

Прежде Державина дело Якоби производил известный Шешковский<sup>18</sup>, и Державину надобно было выдержать борьбу с этим человеком, находившимся «в отличной доверенности у императрицы и у Вяземского по делам тайной канцелярии». Увидев, что Державин дает делу другой оборот, Шешковский взял было на себя «важный и присвоенный им, как всем известно, таинственный грозный тон с новым следователем». Но Державин заговорил с ним так, что он «затрясся, побледнел и замолчал». Если тут Державин замечает о себе, что выказал «неустрасимость», то, надобно признаться, он справедливо присвоивает такое достоинство своему поступку: не всякий решился бы раздражать Шешковского против себя. Часто бывая смешным по тщеславию, слишком часто выказывая чрезвычайную ограниченность, иногда совершенную дикость понятий (доказательства тому мы еще уви-

дим), не считая предосудительным делом низкопоклонничества, обычного тогда, Державин, однакоже, являлся иногда человеком, защищавшим свои убеждения не без мужества.

Кто хочет доверять объяснениям самого Державина больше, чем обыкновенным рассказам о его служебной неспособности, тот может найти у него такую причину придворного охлаждения к нему, которая приносит честь его сердцу: рассказав о разных мелких наговорах, от которых, по его мнению, «поселилась остуда» к нему в сердце императрицы, он продолжает:

Может быть и за то, что он по желанию ее, видя дворские хитрости и беспрестанные себе толчки, не собрался с духом и не мог таких ей тонких писать похвал, каковы в оде Фелицы и тому подобных сочинениях, которые им писаны не в бытность его еще при дворе: ибо издавала те предметы, которые ему казались божественными и приводили дух его в воспламенение, явились ему, при приближении к двору, весьма человеческими и даже недостойными великой Екатерины, то и охладел так его дух, что он почти ничего не мог написать горячим чистым сердцем в похвалу ее.

По желанию императрицы (говорит он в другом месте), чтоб Державин продолжал писать в честь ее более вроде Фелицы, хотя дал он ей в том свое слово; но не мог оно сдержать по причине разных придворных каверз, коими его беспрестанно раздражали; не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями; сколько раз ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии было такого сделать, чем бы он был доволен. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. — Итак, не знал, что делать; но как покойная (то есть первая) жена его любила его сочинения, с жаром и мастерски нередко читывала их при своих приятелях, то из разных лоскутов собрала она их в одну тетрадь (которая хранится ныне в библиотеке графа Алексея Ивановича Пушкина в Москве) и, переписав начисто свою рукою, хранила у себя; когда же муж беспокоился, что не может ничего по общению своему сделать для императрицы, то она советовала поднести ей то, что уже написано, в числе коих были и такие пьесы, кои еще до сведения ее не доходили; сказав сие, подала, к удивлению его, переписанную ею тетрадь. Не имея другого средства исполнить волю государыни, обрадовался он сему собранию чрезвычайно. Просил приятеля своего Алексея Николаевича Оленина нарисовать ко всякой поэмке приличные картинки (виньеты) и, переплетя в одну книгу, с посвянительным письмом поднес лично в ноябре 1795 года. Государыня, приняв оную, как казалось с благоволением, занималась чтением оной сама, как камердинер ее г. Тюльпин сказывал, двое суток.

Но, замечает он в другом месте, она умела обращаться с людьми, «выигрывать сердца и ими управлять, как хотела».

Часто случалось, что рассердится и выгонит от себя Державина, и он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит, начнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить, и тому подобное ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается попрежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в иступлении сказал: «Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить;

но вы против воли моей делаете из меня, что хотите». Она засмеялась и сказала: «неужто это правда?» Умела также притворяться и обладать собою в совершенстве.

Но, от чего бы то ни было, от неспособности ли своей к дельному управлению, или от недостатка лъстивости, Державин не получал наград, которых считал себя достойным. Так, по отставке Вяземского, генерал-прокурором сделан был граф Самойлов, а Державин, считавший себя имеющим все права на эту должность, назначен был только сенатором. Чаще всего поручали ему разбор тяжёлых дел и опеку над поместьями богатых малолетних вельмож, будучи уверены, что он не польстится на взятки и не расхитит управляемого имения. В начале 1794 назначили его президентом коммерц-коллегии, но чрезвычайно ограничили его влияние на действительный ход дел оставлением полной независимости от него начальникам важнейших таможен, так что, явным образом, ему хотели предоставить только почетный титул без всякой власти. Он не рассудил понять этого, вмешивался в дела, до которых его не допускали, потому в последние месяцы императрицы через Трошинского сказала ему, «чтоб он не беспокоился по делам коммерц-коллегии». В последние месяцы царствования Екатерины II его служба уже ограничивалась одним присутствием в сенате, и, доведя свой рассказ до кончины императрицы, он пользуется тут удобным случаем для повторения своей постоянной жалобы, что не был награжден ею по достоинству, — впрочем, это не мешает ему считать ее правление «благоденственным».

Что касается до него, то, начав ей служить, как выше видно, от солдата, с лишком через 35 лет дошел до знаменитых чинов, отправлял беспорочно и бескорыстно все возложенные на него должности, удостоился быть при ней лично, принимать и исполнять ее повеление с довольною доверенностью; но никогда не носил отличной милости и не получил за верную свою службу какого-либо особого награждения, как прочие его собратия, Трошинский, Попов, Грибовский и иные многие. Он даже просил, по крайнему своему недостатку, обратить жалованье его в пенсию; но и того не сделано до выпуска его из статс-секретарей. Деревьями, богатыми вещами и деньгами, знатными суммами кроме, как выше сказано, пожаловано ему 300 душ в Белоруссии, за спасение колоний, с которых он со всех получал доходу серебром не более трех с души, то есть 1 000 рублей, а ассигнациями в последнее время до 2 000 рублей, да в разные времена за стихотворения свои подарков, то есть: за оду Фелице золотую табакерку с бриллиантами и 500 червонцев, за оду на взятие Измаила золотую же табакерку, за тариф — с бриллиантами же табакерку, по назначению на билете ее рукою написанному: *Державину*, получил после уже ее кончины от императора Павла. Но должно по всей справедливости признать за бесценнейшее всех награждений, что она, при всех гонениях сильных и многих неприятелей, не лишала его своего покровительства и не давала, так сказать, задуть его; однакоже и не давала торжествовать и явно над ними огласкою его справедливости и верной службы или особливою какою-либо доверенностью, которую она к прочим оказала. Коротко сказать, сия мудрая и сильная государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит по вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но

угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как бы боясь раздражить их; и потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей закоулок пробиться и вознестись до надлежащего величия; но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угонниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали. Когда же привыкла к изгибам по своим прихотям с любимцами, а особливо в последние года, с князем Потемкиным, упоена была славою своих побед, то уже ни о чем другом и не думала, как только о покорении скиптру своему новых царств. Поселику же дух Державина склонен был всегда к морали, то, если он и писал в похвалу торжеств ее стихи, всегда, однако, обращался аллегориями или каким другим тонким образом к истине, а потому и не мог быть в сердце ее вовсе приятным. Но как бы то ни было, да благословенна будет память такой государыни, при которой Россия благоденствовала и которую долго не забудет.

Читатель заметит, что в этом рассуждении Державина нет никаких признаков логики, что посылки не вяжутся с заключением. Но у Державина напрасно было бы и вообще искать какой-нибудь последовательности в образе мыслей; его понятия представляют самую пеструю смесь мыслей, внушаемых сердцем по природе благородным, с господствовавшими тогда идеями совершенно иного характера: так же, как его поступки свидетельствуют то как будто бы о довольно значительном запасе природного здравого смысла, то о самом мелочном тщеславии и о совершенной бестолковости. Если хотите, все эти противоречия очень легко объясняются тем несомненным обстоятельством, что он не был нисколько подготовлен к важным делам, которыми пришлось ему заниматься. Он был дикарь с добрым от природы сердцем, по капризу судьбы поставленный довольно важным человеком в государстве, более всего нуждавшемся в избавлении от дикарства. Он видел, что все не клеится, все дурно, повсюду находил несоответственность между национальными нуждами и обстоятельствами, в которых содержалась нация. Ему хотелось бы сделать что-нибудь полезное для общества, но он решительно не понимал, в чем заключается причина расстройств и бедствий; ему не приходило в голову, что причины эти заключаются в диких понятиях, которыми сам он был пропитан и наивностью которых ловко пользовались некоторые хитрые личности, принявшие из европейской цивилизации один только макиавеллизм. Он верил искренности пышных фраз и сам был преданнейшим помощником лиц, в чувствах которых обманывался.

Читатель скажет, что мы слишком мало подготовляли такое заключение предыдущей статьею: что она почти вся состоит только из голых выписок, не связанных никакою общею мыслью, даже не приведенных ни в какую систему, расположенных в том случайном порядке, в каком попадались они нам при перелистывании записок Державина; он скажет, что многие из этих выписок решительно ни к чему не ведут, а другие, если б и могли иметь какой-нибудь смысл, то теряют его от бессмысленной

обстановки другими выписками, совершенно излишними. Все это так, положим, но что же из этого следует? Следует только то, что автор статьи плохо воспользовался материалами, какие имел в записках Державина; но это нисколько не мешает материалам оставаться недурными, и никто не препятствует читателю придать им собственною мыслью ту обработку, какой не умела сообщить им наша статья. Пусть читатели довольствуются тем, что мы знакомим их с любопытными местами книги, которая иначе была бы известна разве одному из десятирех между нами. Что за странная претензия получать готовые выводы, — гораздо лучше думать самому.

В следующий раз мы переберем содержание остальной части «Записок» Державина, относящейся к царствованию императора Павла и к первой половине царствования императора Александра. Эта часть по объему вдвое меньше той, извлечение из которой мы дали теперь, но она гораздо любопытнее. Воспитанный в понятиях, господствовавших над необразованною массою русского населения в начале царствования Екатерины II, Державин судит по ним о новых порядках: при Екатерине он был недоволен только частностями и главным образом только теми частностями, которые неприятно отражались на его личных делах. При императоре Павле, а еще больше в первые годы императора Александра, им овладевают другие чувства: общий характер управления не таков, к какому он привык, он становится недоволен всем порядком дел. Но вот именно тут и обнаруживается совершенная несостоятельность идей, которыми он привык руководиться. Особенно любопытны в этом отношении его суждения о лучших сподвижниках императора Александра. Они, по его мнению, губили Россию всем тем, что успевали сделать действительно полезного для нее. До сих пор Державин в качестве государственного мужа был только смешон, но в суждениях о первой половине царствования Александра выставляется он, при всей благонамеренности, с такой стороны, что невольно думаешь: каково бы ни было время, следовавшее за кончиною Екатерины, но, во всяком случае, оно едва ли могло быть проигрышем по сравнению с предыдущим временем, которое Державин выставлял образцовым.

## II

Вскоре по своем восшествии на престол император Павел пригласил Державина к себе, дал ему поцеловать руку и в очень милостивых выражениях объявил, что хочет сделать его правителем канцелярии верховного Совета<sup>19</sup>, зная его за человека честного. Говоря о назначаемой ему должности, император употреблял слова «правитель Совета» вместо полного названия «правитель канцелярии Совета». Кажется, смысл был ясен, не-



смотря на выпуск слова «канцелярия»; но Державин, чрезвычайно наивный и тщеславный, тотчас вообразил, что император говорит не о существующей, очень хорошо известной всем должности, а учреждает для него какую-то новую должность, несравненно высшую, так чтобы он был не делопроизводителем Совета, а безграничным начальником его, полновластным лицом, чем-то вроде Ришелье. Когда на другой день вышел указ, в котором краткое разговорное выражение «правитель Совета» было заменено полным формальным выражением «правитель канцелярии Совета», Державин, разумеется, приписал разрушение своей фантазии вовсе не тому, что она была создана только его тщеславием, а интригам своих врагов. Возникли разные объяснения, в которых Державин вел себя с обыкновенною своей навязчивостью, так что государь рассердился, перестал принимать к себе Державина и приказал не пускать его в кавалерскую залу. Державин начал забегать к разным приближенным императора, чтобы они смягчили его, но никому не было охоты впутываться в это дело, и Державин обратился к средству, которое и прежде удавалось ему несколько раз.

По ропоту домашних, был в крайнем огорчении и, наконец, задумал он, без всякой посторонней помощи, возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Он написал оду на восшествие его на престол, напечатанную во второй части его сочинений, под надписью: Ода на новый 1797 год, и послал ее к императору чрез Сергея Ивановича Плещеева. Она полюбилась и имела свой успех. Император позволил ему чрез адъютанта своего князя Шаховского приехать во дворец и представиться, и тогда же дан приказ кавалергардскому начальнику впускать его в кавалерскую залу попрежнему.

До сих пор мы не приводили выписок из поэтических произведений Державина; попробуем обратиться к их свидетельству на этот раз. Ода на новый 1797 год действительно заслуживала того, чтобы произвести улучшение в делах Державина: она проникнута самым искренним чувством благоговения к императору. Державин прославляет милостивый манифест нового государя, потом говорит, что с его царствованием водворилась в государственном управлении самая полезная деятельность: «пронесся дух животворящий», «всяк к делу поспешает и долг свой тщателью творит: перед зеркалом суд не дремлет, скрывает злость главу свою». Все заслуги награждены по достоинству, «седина почестьми покрылась, заслуги получают мзду».

Так бог в величии, во славе,  
Во благовременну чреду,  
Льет благодать своей державе  
В зрях, в росах, в дождях, в лучах;  
Все руки к небу воздевают  
И от него все ожидают  
Себе возможных твари благ.

Вся вселенная повторяет молву, что Павел превосходит Екатерину II и Петра I, и желает «садить в сердцах блаженства крины». Далее он сравнивается с Атлантом «на рамена поднявшим свет», называется избранным сосудом христовой церкви, льющим «все добродетели во нравы», «мудрым ума по просвещению», «нежным, милостивым душой, отирающим слезы несчастным», так что

По доблести и по щедроте  
Аврелий зрится в нем и Тит.

И Державин обещает России, что она под павловым владеньем «будет счастливей всех земных народов».

Конечно, во всех этих похвалах мы должны находить очень значительную часть справедливости; но дело в том, что если Державин и предугадал в своей оде суждение беспристрастной истории, то сам он, по крайней мере, в то время, когда писал эту оду, вовсе не думал того, что писал: при своем раздражении, он дозволял себе в домашнем кругу горькие насмешки или, по его собственному выражению, «не мог удерживаться от горестного смеха», когда говорил со своими близкими. Тут же, всего за 39 строк перед выписанным нами отрывком, он выражает такое мнение:

Все прежние учреждения Петра Великого и Екатерины зачали сумасбродно, без всякой причины, коверкать (Записки Держ., стр. 392).

Вот еще черта такого же рода. Мы говорили, что, прежде чем принялся за сочинение оды на новый 1797 год, Державин пытался помочь своему делу через ходатайство сильных людей, которые, однакоже, не захотели впутываться в дело. Между прочим обращался он с просьбою и к князю Николаю Васильевичу Репнину<sup>20</sup>, который тоже сказал: «не мое дело мирить вас с государем». Тогда Державин «почувствовал в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носил в сердце адскую гордость и лицемерие». По его уверению, «скоро после того низость души сего князя узнали и многие», — вероятно, мы ошиблись бы, предположив по этим словам, что и сам Державин помогал этим многим узнать низость души сего князя, то есть ездил по городу и старался вселять в других убеждение, к которому пришел о качествах души Репнина. Издатель записок Державина справедливо замечает, что Репнин был, напротив, одним из самых благородных людей своего века. Но для нас важно не то, каков был на самом деле Репнин, а то, что Державин, имея о нем мнение, которое мы прочли, не почел нужным выбросить из своих сочинений оду «Памятник герою», на которую указывает издатель. В этой оде прославляется несравненная добродетель героя Репнина и доказывается, что сколь ни славен он своими победами, но еще гораздо высшей славы заслуживает дивными душевными достоинствами: достоинства эти так велики, что Державин для удовле-

творительного их изображения просит даже помощи музы ка-кого-то Кунгдзая.

Всегда разборчива, правдива,  
Нигде и никому не льстива,  
О! строгого Кунгдзая Муза,  
Которая его вдыхала  
Играть на нежном звонком кини,  
И трогать поученьем сердце!  
Приди... —

говорит Державин: «воссядь при памятнике дивном и вещай, что

Друзья, герои человекoв»

должны считаться «солью земли», «звездами во мраке», «великими зеркалами богоподобных» и т. д. и что изображаемый теперь герой имеет такие качества: он

Прямой герой страстями недвижим,  
Он строг к себе и благ ко ближним;  
К богатствам, титлам, власти, славе  
Внутри он сердца не привержен;  
Сокровище его любезно —  
Спокойный дух и чиста совесть,

и т. д. Муза Кунгдзая разыгрывается, наконец, до того, что заключает перечисление добродетелей своего героя стихом —

Благословен Репнин потомством.

Из этого сличения отзывов, деланных Державиным при жизни, с его словами в «Записках», предназначенных к изданию уже по его смерти, когда ни Репнин, ни кто другой не мог доставить ему повышения по службе, мы вовсе не думаем выводить каких-нибудь невыгодных заключений о личном характере самого Державина; мы хотим только сказать, что нравы, в которых он воспитался, были проще, откровеннее нынешних. И теперь мы иногда составляем свои суждения о людях по нашим отношениям с ними, а вслух говорим о людях то, что нужно для нашей выгоды. Но мы совестимся, когда обнаруживается это разноречие явных слов с тайным мнением, а в те времена, когда сложились понятия Державина, этой конфузливости люди как будто не чувствовали: они думали, что в этом разноречии нет ничего предосудительного. Они даже вовсе не старались скрывать, что человек украшается в их глазах всеми возможными добродетелями и совершенствами, когда делается их милостивцем, что если они порицают кого, то не иначе, как по своим личным отношениям к нему. Репнин отказался хлопотать за Державина, и вот мы видели, какую низость души тотчас же нашел Державин в герое, воспетом музою Кунгдзая. Точно так же надобно полагать, что он и правительственные распоряжения находил иногда неосновательными единственно лишь потому, что много

раз обманывался в надежде забрать в свои руки все государственные дела. Успей он получить силу, он стал бы говорить совершенно иначе, — и не только стал бы говорить иначе, сам от всей искренности сердца находил бы, что ход дел совершенно соответствовал в это время картине, представленной им в оде на новый 1797 год.

Через несколько времени Державина опять назначили президентом коммерц-коллегии, но опять так, что у него не было в руках никакой власти: он только должен был исполнять распоряжения министра коммерции князя Гагарина. Державин опять полагает, что император хотел сначала вручить ему обширную власть, но приятели князя Гагарина устроили иначе.

Месяца через два Державина назначили финансовым министром; но существенная власть осталась в руках государственного казначея графа Васильева. Державин, заметив это, попросил объяснения, что ж ему делать на своей должности? Между тем Кутайсов<sup>21</sup>, бывший тогда в большой силе, разгневался за что-то на Васильева, удалил его в отставку, и Державин был переименован из финансов-министров в государственные казначеи. Вступая в эту должность, Державин должен был проверить по ведомостям и отчетам состояние государственных доходов и расходов; но отчеты о них

никто, как должно, не рассматривал, откладывая день за день, то и была со дня учреждения экспедиции о государственных (доходах) более двадцати лет вся империя нечитанною;

потому Державин, долго занимавшись поверкою счетов своего предшественника, наконец,

рапорт государю подал, в котором именно изображено, что книг записных и бухгалтерских за время князя Вяземского совсем не нашлось, что за Васильева время хотя и есть книги, но так многочисленны, пространны и сумнительны, что их в скором времени ни проревизовать, ни утвердить без справок до получения ответов от губернаторов никак невозможно, и что, наконец, многих именных указов на отпущенные в расход суммы не отыскано. Вот в каком порядке найдено Державиным государственной казны управление, что можно видеть из помянутого его рапорта, поданного императору, который и теперь, чаятельно, в целости находится в канцелярии государственного совета.

Кутайсов и Обольянинов рассердились на него за то, что он старался защищать Васильева, которого они хотели погубить. Если Державин говорит правду, объясняя, что защищал Васильева только по человеколюбию, если не было тут никаких других расчетов, эта защита делает честь сердцу Державина, потому что Васильев некогда вредил ему самому. В заключение своих воспоминаний о временах императора Павла Петровича Державин рассказывает несколько частных тяжб и дел, ввопивших его в разные служебные столкновения. Приведем здесь некоторые из них.

Виленский или минский губернатор Яков Иванович Булгаков уведомил двор в 1798 году, что тамошние обыватели делают потаенные стачки, неблагоприятные для России, а полезные для французов, и что некто Дембровский, набрав несколько полков поляков, ушел и присоединился к их армиям. Император тотчас велел таковых заговорщиков ловить и привозить в Петербургскую крепость, где их в тайной канцелярии допрашивали, а по допросе присланы на суд сенату. Таковые были почти все из нижнего разбора людей, то есть попы, стряпчие и дробная шляхта, которые никакого уважения не заслуживали, потому что ежели они и были в чем виноваты, то не иначе как по внушениям или подкупам сильных или богатых магнатов, которых они, не имея на них явных доказательств, принуждены были не выводить наружу. Их обвиняли изменою, потому что они присягали на русское подданство, и по российским законам приговаривали вместо смерти на вечную каторгу в Сибирь. По очереди пришло и до Державина давать свое о них мнение. (Он сказал:) «Почему ж так строго обвиняются сии несчастные, что они имели некоторые между собою разговоры, и можно ли их винить в измене и клятвопреступлении по тем же самым законам, по которым должны обвиняться в podobных заговорах природные подданные; по нашим, кто вступал в заговор или слышал о том да не донес, подлежит смерти. Мне нечего другого о них сказать, как то же самое; но если и были они когда верные подданные, спросите по совести у всех вельмож, которые о них подписали смертный приговор, то есть графа Ильинского, графа Потоцкого и прочих, которые тогда были сенаторами и присутствовали по сему делу в общем собрании, не то же ли и они думают, что сии осужденные. Придет время, что оное узнаете; чтоб сделать истинно верноподанными завоеванный народ, надобно его прежде привлечь сердце правосудием и благодеяниями, а тогда уже и наказывать его за преступления, как и коренных подданных по патриотическим законам. Итак, по моему мнению, пусть они думают и говорят, как хотят, но только к самому действию не приступают, за чем нашему правительству прилежно наблюдать должно и до того их не допускать кроткими и благоразумными средствами, а не наказывать и не посылать всех в ссылку. Иное дело главных заводчиков; посмотрите лучше на Дембровского, который выпросил у государя привилегию на формирование полков, то набрав их, он легко может то сделать, что и братья его, то есть уйти во Францию или, когда подойдут французы, то изменою присоединиться к ним. Вот за чем надобно неусыпно наблюдать, а не за тем, что попы и подьячие между собою в домах своих разговаривают, и за то их ссылают в ссылку». Г. Макаров тут же в собрании при Державине пересказал слышанное от него генерал-прокурору князю Куракину<sup>22</sup>. На другой, то есть в воскресный, день, когда Державин приехал по обыкновению во дворец, Куракин, встретя его, улыбувшись, сказал, что государь приказал ему не умничать; а между тем, сколько слышно было, что судьба преступников облегчена и более не приказано забирать и привозить в Петербург поляков в тайную канцелярию, а там их за болтовню унимать по законам.

Державин тут показывается человеком, смотревшим на дела правильнее многих своих сослуживцев: но, к сожалению, он сам разочаровывает нас впоследствии рассказами о том, как через несколько лет в начале царствования ратовал против Потоцкого и Чарторыжского, вина их бог знает в каких злоумышлениях против государства, ни больше, ни меньше, как за то, что они советовали императору Александру Павловичу, который и сам увидел справедливость их соображений, освободить русских дворян от обязательных сроков военной службы. Сравнив действия Державина в этом случае с рассудительными мыслями, которые здесь выписаны нами, мы должны заключить или то, что в обоих

случаях он руководился только личными отношениями, или то, что его образ мыслей был совершенно бессвязен. Последнее предположение еще правдоподобнее первого.

Пропуская несколько дел, не имеющих интереса, мы переходим к восьмой из рассказываемых Державиным историй. Державина посылали в Белоруссию для исследования разных злоупотреблений; он между прочим нашел, что евреи, содержатели шинков, сильно вредят благосостоянию белорусских поселян, и представил, что было бы полезно запретить евреям шинкарство. Из этого возникло дело, тянувшееся довольно долго и оставшееся тогда без последствий. Но за свою ревизию Державин получил одобрение и награду. Через несколько времени явилась в Петербург жена еврея, служившего при винокуренном заводе, посещенном Державиным во время ревизии, и подала жалобу о том, будто бы Державин бил ее, и она, бывши в то время беременною, викинула мертвого младенца.

Но как Державин, быв на том заводе с четверть часа, не токмо никакой жидовки не бил, но ниже в глаза не видал, то и не знал о сей клевете до самой той минуты, когда при приезде его из коммерц-коллегии в сенат обер-прокурор Оленин показал ему объявленный генерал-прокурором именной указ, чтоб по той просьбе учинить рассмотрение сенату. Крайне он удивился такой странной внезапности и не верил ей, потому что он поутру был у генерал-прокурора и ни слова от него о том не слышал. Но прочетши указ и просьбу, вспыхнул и сбесился, так сказать, до сумасшествия. «На меня в то время внимать клеветам жидовки, когда все мои поступки в Белоруссии опробованы уже рескриптом государя, и предавать меня с ней суду? (вскричал он). Нет, я еду к императору, прежде нежели буду отвечать на жидовкину бездельничью просьбу». Оленин и прочие его приятели, схватя его за полу, дергали и унимали, чтоб он перестал горячиться. Он, опомнившись, хотел ехать к генерал-прокурору, но не могши вдруг преодолеть своей запальчивости, просил г. сенатора Захарова, попавшегося ему в глаза на подъезде сенатском, чтоб он сел с ним в карету и проехался несколько по городу. Сей исполнил его желание и, в продолжение езды более двух часов, разговорами своими несколько его успокоил. По приезде, пошел прямо в кабинет к генерал-прокурору, но сей, как видно, сведал о его чрезвычайном огорчении, тотчас вскочил с места и прибежал к нему, цаловал даже его руки, прося успокоиться, доказывая, что указ, объявленный им, никакой важности в себе не составляет, что жидовкина клевета ничего не значит. «Нет, ваше превосходительство, я писал указы и знаю, как их писать; то когда велено рассмотреть жидовкину просьбу, то само по себе разумеется, что с меня против оной взять объяснение и решить по закону, стало судить». — «Но как же этому помочь?» сказал генерал-прокурор. — «Поедемте со мною к императору, пусть он сам рассудит», сказал Державин. — «На что так далеко ходить в разбор, говорил Обольянинов, нет ли средства самим нам поправить?» — «Но записаны ли в сенате, спросил Державин, все вами объявленные высочайшие повеления и собственноручный рескрипт государя императора, которым апробованы дела мои и поступки, бывшие в Белорусской губернии по порученным мне комиссиям, а в том числе и по Лезинскому винокуренному заводу, на которые более трех месяцев жалобы ни от кого не было? Ежели записаны, то как вы могли против государских благоволений поверить такой сумасбродной и неистовой жалобе и по ней докладывать?» — «Нет, он сказал, благоволения мною вам объявлены, а рескрипт в сенате не записан». — «То объявите, говорил Державин, или я сам их объявлю прежде, нежели по жалобе жидовки до-

кладывано будет, а когда она запишутся, тогда, наведя о них справку, можете отвергнуть клевету еврейки, не требуя от меня объяснения на оную и не подвергая, так сказать, меня суду с нею». Так и сделали, и еврея, писавшего ей жалобу, приговорили за дерзость на год в смирительный дом.

Очень любопытно основание, по которому Державин полагал, что сенат не должен принимать никаких жалоб на его поступки во время ревизии: ревизия была одобрена, потому нельзя уже заводить никаких дел, относящихся к тому времени. Одобрение и награда, конечно, были даны только на основании сведений о действиях Державина, бывших известными правительству в то время, когда рассматривался его доклад о ревизии; но, разумеется, одобрение этих действий не могло нимало мешать рассмотрению жалоб на другие действия, не бывшие в то время известными правительству. Державин думал не так. Любопытно то, что Оболянинов и другие сослуживцы Державина совершенно сходились с ним во мнении, что просьбу жидовки нельзя уже и рассматривать. Дело не в том, справедлива или несправедлива была жалоба, — очень может быть, что справедливы слова Державина, называющего ее неосновательной: важны убеждения Державина и его сослуживцев, что жалоб на его действия во время белорусской ревизии нельзя уже и принимать. Державин действовал тут на основании принципа, а не потому, что боялся следствия; ему даже, как видно, жаль было, что для соблюдения законности он принужден был требовать наказания человеку, который, по его мнению, сделал преступление сочинением просьбы для жидовки: при первой возможности он исходатайствовал освобождение наказанному за него еврею.

Заключением воспоминаний Державина о царствовании Павла Петровича служит перечень наград, полученных им в это время. Так же, как и при перечне наград, полученных в царствовании Екатерины, Державин с полным простодушием выставляет, что считал награды недостаточными. Вот этот отрывок:

Он получил от императора Павла следующие награждения: 1) за оду на рождение великого князя Михаила Павловича табакеркою с брильянтами, 2) такую же за оду на Мальтийский орден и 3) крест брильянтовый Мальтийский за сочинение банкротского устава.

Наконец получил Державин еще награждение за поднесение росписания доходов на 1801 год, за что прежде государственным казначеям, предшественникам его, жаловалось по 100 000 р., которые и тогда император приказал было выдать; но окружающие уверили государя, что по недавнему вступлению Державина в сию должность много такого награждения, и дано ему только 10 000 рублей, а остальные 90 000 рублей разделили по себе, как-то: Оболянинову 30 000 руб., адмиралу Кушелеву 30 000, князю Гагарину 30 000; но Державин никогда ни от кого никакого не получал награждения и тем был доволен, хотя и чувствовал обиду; но скрыл в своем сердце.

Нам нравится откровенность тогдашних обычаев: Державину и в голову не приходило, что кто-нибудь из его читателей найдет

неприличными его простодушные слова, что слишком мало его награждают.

Но вот начинается царствование Александра I. Читателю известно, что первые годы нового правления были ознаменованы преобразованием высшего государственного управления<sup>23</sup>, но до сих пор никто не предполагал, что Россия должна благодарить за эти преобразования не кого-нибудь другого, а именно Державина: он с обыкновенною своею наивностью объясняет, что дело было произведено только благодаря ему. Беклешов, назначенный генерал-прокурором на место Обольянинова, Трощинский, бывший первым статс-секретарем, и граф Александр Романович Воронцов, пользовавшиеся большою силою в начале царствования императора Александра I, не внесли имя Державина в список членов государственного совета, когда это учреждение преобразовывалось, — вероятно, они сделали так потому, что имели о деловых способностях Державина такое же мнение, какого держимся и мы. Но самолюбивый Державин, не колеблясь, выставляет другую причину: Беклешов, Трощинский и Воронцов, «чтоб Державин им ни в чем не препятствовал, выключили его из государственного совета под видом нового его преобразования». Видите ли, Державин был такой опасный для них человек, что даже преобразование государственного совета было предпринято, собственно, с целью избавиться от Державина. Послушайте, что дальше:

Некоторый подлый стиходей в угодность их не оставил насчет его пустить по свету эпиграмму следующего содержания:

Тебя в совете нам не надо:  
Паршивая овца  
Все перепортит стадо.

Державину злобная глупость сия хотя сперва показалась досадною, но снес равнодушно и после утешился тем, когда избранными в совет членами, после его отставки, доведено стадо государство до близкой в 1812 году погибели. Началось неуважение законов и самые беспорядки в сенате; осуждая правление императора Павла, зачали без разбора, так сказать, все коверкать, что им ни сделано.

Хорошо утешение для патриота, что отечество доведено до погибели! И, конечно, читатель никак не предполагал, что опасность, какой подвергалась Россия в 1812 году, произошла, собственно, оттого, что Державин не заседал в государственном совете. Нечего сказать, спас бы он отечество от всяких бедствий, — это видно по размеру ума, обнаруживающемуся в его записках. Но читатель все еще не видит, каким же образом Державин положил основание важной государственной реформе. Дело было очень просто. В сенате рассматривалась тяжба г-жи Колтовской с ее мужем о каком-то наследстве. Большинство сенаторов с генерал-прокурором постановили решение в пользу одной из тяжущихся



сторон, а Державин говорил в пользу другой. Решение большинства было утверждено государем; но Державин увидел, что в докладе, представленном государю, не было упомянуто, что он не согласен с мнением большинства. Смотрите же, что из этого вышло:

Натурально презрение такое, учиненное ему генерал-прокурором, его безмерно огорчило; и для того он тотчас написал письмо к бывшему тогда статс-секретарем Михайле Никитичу Муравьеву<sup>24</sup>, человеку самому честнейшему и его приятелю, в котором просил его доложить государю императору, чтоб пожалована была ему аудиенция для объяснения по должности сенатора. Сие ему на другой день позволено, и когда он впущен был в кабинет его, то вопрошен был: «Что надобно?»— «Государь, Державин сказал, ваше императорское величество манифестом своим о восшествии на престол *обещали царствовать по законам и по сердцу Екатерины*; законы же Петра Великого, на коих основан сенат, и сей государыни давали всякому сенатору то преимущество, что голос каждого имел право доставлять спорное дело на рассмотрение самого монарха, несмотря на мнение прочих, которые были бы с ним не согласны; а ныне г. генерал-прокурор Беклешов по делу г-жи Колтовской поднес доклад вашему величеству, не упоминая о моем противном прочим мнению, чем и учинил мне по должности презрение, то и осмелюсь испрашивать соизволения вашего, на каком основании угодно вам оставить сенат? Ежели генерал-прокурор будет так самовластно поступать, то нечего сенаторам делать, и всеподданнейше прошу меня из службы уволить». Государь сказал: «Хорошо, я рассмотрю». Вслед за сим через несколько дней последовал именной указ, которым повелевалось рассмотреть права сената и каким образом оные сочинены, подать его величеству мнение сената. Вот первоначальный источник, откуда произошли министерства.

Вот оно как повернулось дело: из аудиенции Державина произошли министерства. Бедняжка не понимает, как смешны его легкомысленные претензии на имя государственного преобразователя. Он не воображал, что каждому известно, что над реформами работали тогда люди в тысячу раз умнее и в миллион раз образованнее его. Как только указ был получен в сенате, Державин принял хлопотать и сочинил целый проект организации высшего государственного управления. Он довольно подробно рассказывает свой план, но мы не станем утомлять читателя соображениями такого законодателя, как Державин. Разумеется, проект был брошен, как ни на что не пригодный, но Державин имеет тщеславную наивность предполагать, будто за этот проект был дан ему орден Александра Невского, хотя сам же упоминает обстоятельство, объясняющее награду совершенно иначе: орден был дан ему при коронации, когда раздавались награды в знак милости, а не за какие-нибудь особенные заслуги.

Через несколько времени император Александр призвал честного, хотя не слишком даровитого слугу, сказал, что хочет послать его в Калугу для исследования злоупотреблений калужского губернатора Лопухина, и отдал ему бумаги, в которых описывались эти злоупотребления.

Державин, прочегиши гин бумаги и увидев в них наисильнейших вельмож замешанных, на которых губернатор надеясь чинил разные злоупотребления власти своей, а они его покровительствовали, просил у императора, чтоб он избавил его от сей комиссии, объясняя, что из следствия его ничего не выйдет, что труды его напрасны будут и он только вновь прибавит врагов и возбудит на себя ненависть людей сильных, от которых клевет и так он страждет. Император с неудовольствием возразил: «Как, разве ты мне повиноваться не хочешь?» — «Нет, ваше величество, я готов исполнить волю вашу, хотя бы мне жизни стоило, и правда пред вами на столе сем будет. Только благоволите ее защищать». — «Нет! — с уверительным видом возразил император, — я тебе клянусь поступать как должно».

Уверившись, в защите императора, Державин поехал в Калугу и нашел там действительно вещи удивительные: Лопухин оказался виновен во множестве уголовных преступлений; но еще изумительнее были разные странные поступки его, о которых Державин говорит вот что:

Важных уголовных и притеснительных дел открыто, следующих до решения сената и высочайшей власти, 34, не говоря о беспутных, изъявляющих развращенные нравы, буйство и неблагопристойные поступки губернатора, как-то: что напивался пьян и выбивал по улицам окна, ездил в губернском правлении на раздьяконе \* верхом, приводил в публичное дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку, и тому подобное, — каковых распутных дел открылось 12.

Возвращаясь к тому же предмету через несколько страниц, Державин подробнее перечисляет эти двенадцать дел, которые, по его выражению, «означали более шалость и непристойность в поступках, нежели зловердное намерение».

Итак, найдено было 34 дела, достойных уважения, как-то: в смертоубийстве, в отнятии собственности, в тиранстве и взятках; а 12 таких, которые за первыми уже не считались достойными уважения, потому что означали более шалость и непристойность в поступках, нежели зловердное намерение, как-то, например: ездил губернатор в губернском правлении при всех служителях на раздьяконе, присланном от архиерея, для отсылки в военную службу за вины его, верхом, приговаривая разные прибаутки, вводил в государский праздник, во время торжественного благородного собрания, публичную распутную девку, французженку, давая ей место между почтенными дамами и приглашая с собою и прочими кавалерами танцевать; пьянствовал, ходя по улицам, выбивая в домах окна, как-то: у господина Демидова, от чего все и дело началось, и прочее, чего описывать здесь было бы подробно.

В конце 1802 года был издан манифест об учреждении восьми министерств, и министром юстиции назначен был Державин. Скоро перессорился он со всеми своими товарищами, вероятно, потому, что впутывался не в свои дела, горячился из-за мелочей и не имел просвещенного взгляда на вещи, каким отличались тогда люди, пользовавшиеся милостью императора, и каковы были из числа министров, например, Воронцов, Чарторыйский, Кочубей, Мордвинов, Чичагов. Государь, конечно, скоро заметил, что человек отсталых понятий и недалекого ума не годится на

\* Расстрижил дичко т. — Ред.

месте министра юстиции, и «стал он скоро приходить час от часу у императора в остуду»; но сам Державин, разумеется, объясняет эту «остуду» не своею неспособностью, а интригами своих товарищей. «Первое покушение их против него обнаружилось», как он говорит, по следующему случаю, который сам же рассказывает так, что выставляет себя попусту горячащимся, ничего не понимающим чудаком, воображая, что является перед читателями спасителем престола и отечества. В сенате возник вопрос о прежнем постановлении, по которому дворяне, поступавшие в военную службу юнкерами, не имели права выходить в отставку раньше двенадцати лет. Вопрос возник из того, что дворяне тяготились этим стеснением. Сенат, не входя в рассмотрение дела, положил было оставить в силе прежнее правило. Но граф Потоцкий подал мнение, что теперь нет надобности удерживать дворян в унтер-офицерах против их воли, потому что, слава богу, государство теперь не имеет недостатка и в таких дворянах, которые служат по доброй воле. Державин рассердился, и бог знает какая дичь полезла ему в голову: ему показалось, что Потоцкий составил свое мнение с целью подорвать могущество России. Он знал, что мнение Потоцкого было предварительно одобрено самим государем, но не образумился и этим фактом, который, кажется, мог бы показать, что мнение Потоцкого не имеет в себе ничего преступного. Делая доклад государю, Державин выставлял злонамеренность Потоцкого и, вероятно, наговорил уже слишком много вздорных клевет, потому что император, несмотря на мягкость характера и на всегдашнюю свою любезность в обращении, не выдержал и

отвечал на доклад Державина весьма резко теми же словами: «Что же, мне не запретить мыслить, кто как хочет! пусть его подает, и сенат пусть рассуждает». Державин докладывал, что таковые мнения приводят особу его и правительству в неуважение, что можно подавать мнение, но в свое время и согласно законам. Государь отвечал: «Сенат это и рассудит, а я не мешаюсь».

Сенаторы, рассмотрев дело, которое прежде пропустили было без особенного внимания, увидели, что нет никакой государственной надобности обязывать службою дворян, не желающих служить, когда есть уже достаточное число служащих по доброй воле. Но Державин и тут не унялся: ему грезились вольнодумные мысли и революционные замыслы в его сослуживцах, сенаторах. Когда подавали голоса в сенате, он «шепнул» одному товарищу, на которого надеялся, сенатору Шепелеву, «чтобы он не соглашался с революционными мыслями». Он хотел написать протест, но простудился, и

болезнь, сколько сама собою или от чрезвычайной чувствительности и потрясения всех нерв, что российский сенат не токмо позволил унижать себя пришельцу и врагу отечества\*, но еще, защищая его, идет против своего

\* То есть Потоцкому (поляку). — Ред.

государя и тем самым кладет начальное основание несчастью государства, допуская засеивать семя мятежей или революции, подобной французской, — так умножилась, что Державин не мог написать мнения.

Наконец несколько оправился от простуды и написал протест: но болезнь, происходившая от душевной скорби, усилилась, так что «разлилась желчь от чрезвычайного огорчения» на решение сената, и Державин «чуть было не умер». Выздоровев, он отправился в сенат, наделал там безрассудных сцен, доказывая, что «пущением молодого дворянства в праздность, негу и своеволие без службы подкапывались враги отечества под главную защиту государства», доводил дело до новых объяснений перед императором, но достиг всем этим шумом только того, что государь совершенно ясно увидел его бестолковость и неспособность, и «с того времени приметным образом холоднее обращался государь с Державиным».

Приписывая это охлаждение не собственной неспособностью, а интригам своих врагов, особенно Новосильцова<sup>25</sup>, Кочубея<sup>26</sup> и Сперанского, Державин в доказательство их злонамеренности рассказывает два своих проекта, осуществлению которых они мешали. Эти два проекта уже и сами по себе, без всяких других доказательств, могли бы свидетельствовать о совершенной нелепости Державина, который чрезвычайно гордится ими. Мы упоминали, что он ездил в Белоруссию для ревизии разных беспорядков и убедился там, что евреи вредны для народа. Столь же вредным ему показалось для общественного спокойствия сословие шляхты. Не думая долго, он сочинил два проекта одинакового содержания. В одном проекте он предлагал переселить из Белоруссии и польских провинций всех евреев в Херсонскую, Астраханскую, Саратовскую и Уфимскую губернии и в Сибирь, вовсе не сообразив того, что у государства не достало бы денежных средств перевезти целый миллион народа за три, за четыре тысячи верст. Всю шляхту, простирившуюся числом до 500 000 человек, он также предполагал переселить в те же губернии. Разумеется, каждый умный человек видел дикость таких крутых фантазий, и оба проекта были брошены без внимания. Но он с обыкновенной своей пронизательностью уверяет, будто его проекты были отвергнуты врагами России, Сперанским и другими, взявшими за то по 30 000 червонцев. Вздорность этих слов не нуждается ни в каких объяснениях.

Император увидел, наконец, что нет никакой возможности иметь дело с таким диким человеком; но прежде чем приказал он Державину выйти в отставку, наш поэт нашел случай еще раз отличиться. Он с большим самодовольством рассказывает, как хлопотал об отменении указа, установлявшего сословие вольных хлебопашцев<sup>27</sup>. Предоставим ему самому рассказать об этих достославных подвигах, только сокращая его рассуждения, слишком длинные.

Касательно вольных хлебопашцев, то сие таким образом случилось: Румянцов выдумал, смею сказать, из подлой трусости государю угодить, средства; каким образом сделать свободными господских крестьян. Как это любимая была мысль государя, внушенная при воспитании его некоторым его учителем Лагарпом, то Румянцов, чтоб подольститься к государю, стакнувшись наперед, смею сказать, с якобинскою шайкою Чарторижских, Новосильцовых и прочими, подал проект, чтобы дать свободу крестьянам от господ своих откупаться<sup>28</sup>. Государь проект сей, одобренный его молодыми тайными советниками, принял весьма милостиво или, лучше сказать, с радостью, что нашлось средство привести его любимейшую мысль к исполнению, передал оный государственному совету на рассмотрение или, лучше сказать, на исполнение. Все господа члены совета сей проект согласно одобрили, как и указ, заготовленный о том, апробовали. Державин только один дал свой голос, что всем владельцам по манифесту 1775 года отпущать людей и крестьян своих позволено, а по указу царствующего государя 1801 года и снабжать отпущенных людей землями можно, следовательно, никакой нужды нет в новом законе<sup>29</sup>. Румянцов может отпустить хотя всех своих людей и крестьян по тем указам, и новым особым указом растревивать о мнимой волности и свободе простому, еще довольно непросвещенному народу опасно, и только такое учреждение наделает много шума, а пользы никакой ни крестьянам, ни дворянам. Это мнение его записано в журнале совета; но несмотря на то, государь дал указ известный о вольных хлебопашцах. Когда генерал-прокурору (то есть Державину, исполнявшему должность генерал-прокурора по званию министра юстиции — [Н. Г. Чернышевский]) он прислан был, то не посылая оного в сенат, поехал во дворец и представил государю со всею откровенностию и чистосердечием о неудобности указа. Он спросил, почему же он бесполезен? Не говоря о политических видах, что нашей непросвещенной черни опасно него твердить о волности, которой она в прямом ее смысле не понимает и понять не может, отвечив Державин, но и по самому своему содержанию он неудобисполнителен. Почему? Потому что условливать рабу с господином в цене о свободе почти невозможно: это такая вещь, которая цены не имеет, требуя со стороны господина только всего великодушия, а со стороны раба благодарности, а иначе всякие условия будут тщетны. Сверх того, и государственное хозяйство неминуемо от сего учреждения потерпит как в сборе рекрут, так и денежных повинностей, ибо крестьяне, продав взятую ими у помещиков землю, могут переселиться на другие в отдаленнейшие страны империи, где их сыскать скоро не можно, или по своему вольству своему и лениости разбредутся куда глаза глядят, чтобы только не ставить рекрут и не платить никакой повинности, в чем они единственно свободу свою полагают. Нижние земские суды или сельская полиция, по пространству в империи мест нежилых и пустых, удержать их от разброду не могут без помещиков, которые суть наилучшие блюстители или полицеймейстеры за благочинием и устройством поселян в их селениях... Державин едва от государя возвратился домой, располагаясь на другой день представить указ в государственный совет, как является к нему г. Новосильцов с повелением от государя, чтоб указ... отослать в сенат для неперменного исполнения. Державин крайне сим огорчился и не знал, как тому помочь, то пришло ему в голову, что в правах сената, напечатанных при министерском манифесте, и по коренным Петра Великого и Екатерины II законам позволено сему правительству\* входить с докладом к императорскому величеству, когда какой новоизданный закон покажется темен, неудобисполнителен и вреден государству, то и желал приятельски о том сделать внушение кому-либо из господ сенаторов, чтоб он, при записке того указа сенату в общем собрании, подал мысли прочим сенаторам взйти в доклад к государю, представя ему бесполезность указа. Обращаясь мыслями на того

\* То есть сенату. — *Ред.*

и на другого сенаторов, показался ему всех способнее, по престарелым летам своим и по знанию законов и пользе государственных, Федор Михайлович Колокольцов, которого он тот же день пригласил к себе на вечер, сообщив наедине свои мысли. Он, поняв всю важность предложения, охотно согласился оно исполнить. Державин остался спокоен, уповав, что в понедельник, при объявлении указа в общем собрании, положат войти с докладом о неудобности сего нового закона. В сих мыслях во вторник, как в докладной день, быв у государя, поехал в сенат в полном удостоверении, что г. Колокольцов поступил, как обещал. Вместо того, на вопрос отвечают ему, что указ в общем собрании принят, записан и отослан в первый департамент для исполнения. Весьма он сему удивился. Подходит к Колокольцову, спрашивает его потихоньку: «Как, указ принят?» — «Так, — отвечает он, переименная, — к несчастью, я сделался болен вчера и не мог в сенате быть». Поговора, положили, что, будто по разноречию в исполнении, внести паки в общее собрание. Как рассуждение было о том при обер-прокуроре князе Голицыне, посаженном в сие место, можно сказать, более не для соблюдения законов и настоящего дела, а для тайного уведомления государя, что в сенате делается, и как он верно отправляя возложенную на него должность, обедая всякой день во дворце, то рассуждения Державина о сем указе, — которые он говорил о бесполезности и неудобности сего указа, сожалел о государе, что он приведен на такое дело, которое не принесет ему ни пользы, ни славы, натурально, что Голицыным слушанный, — поехав обедать во дворец, пересказал императору; а как по вторникам всякую неделю, после обеда часу в 7-м, был во дворце в присутствии императора министерский комитет, то государь, посидев в нем не более часа, не очень весело кончил присутствие, и лишь только начали министры развешаться, то один из камердинеров государя, подошед к Державину, сказал тихо, что император зовет его к себе в кабинет. Вошел в оный, нашел его одного. Он тотчас начал говорить: «Как вы, Гаврила Романович, против моих указов идете в сенате и критикуете их? Вместо того, ваша должность подкреплять их и наблюдать о непрременном исполнении». Державин отвечал, что не критиковал указов, а признается, что, при рассуждении об исполнении, как и его величеству докладывал, сомневался о удобности и пользе, что и теперь по присяге своей подтверждает, удостоверая, что его величество сим способом не достигнет своего намерения, чтобы сделать свободными владельческих крестьян, да ежели б и достиг, то в нынешнем состоянии народного просвещения не выдет из того никакого блага государственного, а напротив того вред, что чернь обратит свободу в своеволие и наделает много бед. Но как государь учителем своим французом Лагарпом упоен был, и прочими его окружавшими ласкателями, сего мыслию, по их мнению великодушною и благородною, чтоб освободить от рабства народ, то остался колебим в своем предрассудке, и приказал объявить именное свое повеление, чтоб по разногласию в первом департаменте не обращать того указа в общее собрание, а исполнить бы его непременно, что он беспрекословно уже и исполнил, негодую в размышлении на трусость г-на Колокольцова, каковы почти и все были господа сенаторы его времени.

Этою выпискою, после которой всякие рассуждения напрасны, мы и закончим наши извлечения из «Записок» знаменитого поэта. Недолго пробыл он министром, всего тринадцать месяцев, но в это короткое время успел наделать, как видим, довольно попыток произвести путаницу в делах. Он противится всяким реформам, придумывает нелепые и свирепые планы, называет подкупленными людьми благонамеренных и умных сановников, бросающих эти планы, называет якобинцами всех министров, производящих какое-нибудь улучшение.

Быть может, найдутся читатели, которых оскорбит наше откровенное мнение. Но что же делать, не мы выставяем Державина в таком виде, — он сам потрудился изобразить себя таким в своих записках. Впрочем, это самое и должно примирять нас с ним: видно, он сам не понимал, что писал о себе, в каком виде выставял себя: не понимал ни размера своих способностей, ни государственных надобностей; людей он ценил только по своим отношениям с ними, и каждый, кто не покровительствовал ему, кто мешал его вздорным замыслам, казался ему якобинцем, врагом престола и отечества. Но его тщеславие было так просто-душно, его ограниченность так недогадлива, что можно ему простить все его нелепости, тем больше, что они оставались безвредными для государства по его бессилию.